

**АНДРЕЙ
ИВАНОВ**

АРГО НАВТ



18+

Это роман о любви, выросшей
внутри постоянного дискомфорта.

ДМИТРИЙ БАВИЛЬСКИЙ

Большая проза

Андрей Иванов

Аргонавт

«ЭКСМО»

2018

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Иванов А. В.

Аргонавт / А. В. Иванов — «Эксмо», 2018 — (Большая проза)

ISBN 978-5-04-091111-0

Синтез Джойса и Набокова по-русски – это роман Андрея Иванова «Аргонавт». Герои Иванова путешествуют по улицам Таллина, европейским рок-фестивалям и страницам соцсетей сложными прихотливыми путями, которые ведут то ли в никуда, то ли к свободе. По словам Андрея Иванова, его аргонавт – «это замкнутый в сферу человек, в котором отражается мир и его обитатели, витрувианский человек наших дней, если хотите, он никуда не плывет, он погружается и всплывает».

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-091111-0

© Иванов А. В., 2018
© Эксмо, 2018

Содержание

1	5
2	21
3	37
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Андрей Иванов

Аргонавт

*Блажен земной шар, когда он блестит
На мизинце моей руки!*

Велимир Хлебников

1

Вчера были с Эдвином в ботаническом саду (Botanisk trädgård, to be precise: в основном экзотические деревья), там собираются любители покурить; он меня представил местным хиппи, и впервые за последние пять лет я немного дунул. Так вылетел, не поверишь. Совсем размяк. Пришлось сесть. Не заметил, как задремал. Открываю глаза: к нам приближается марсианин растаман, марокканец с дредами. Они долго разговаривали, а я, потеряв надежду что-либо понять, сидел и смотрел на огромное тюльпанное дерево с необыкновенно крупными плодами, похожими на снегирей или ткачиков, и они запели...

Когда вышли за ограду, мне показалось, что мы в Тарту, и я стал гадать, как бы свернуть, чтобы выйти к бару «Александр», которого давно не существует (так мне захотелось посидеть среди старых музыкальных инструментов); пока думал об этом, перенесся в Крумлов, и вот я уже иду с чехами по булыжным улочкам Крумлова. Вышли за городскую стену, оказались в порту, бескрайнее море, ветер, закат, меня это сильно озадачило: в Крумлове порта нет! Увидел пальмы и остолбенел: где я? Приятели Эвина с нами попрощались, плавно растворились, пальмы шуршали, ветер теребил гирлянду с японскими фонариками. Эдвин сказал, что пойдет к своей подружке, предупредил не ждать его до утра. Мы планировали очередную вылазку к тому окошку, про которое я писал тебе в прошлый раз, со странной картиной, мне опять не удалось ее сфотографировать, и он предложил попробовать его большой фотоаппарат с дополнительным объективом (с полкило линза), но тут ему прислала подружка эсэмэс: прибывает ночным паромом из Nynäshamn'a. Он будет ее встречать. Попросил сходить в магазин и купить что-нибудь на завтрак и еще проведать его отца, тому тоже надо что-то купить, потому что он сидит с утра до ночи и пишет свой бесконечный роман, напрочь утратил связь с реальностью (в хорошем смысле). «Уже темнеет, – заметил Эдвин. – Не откладывай». Улыбнулся и пошел. Я направился в Старый город. Дела вернули меня к жизни. Возле собора Св. Марии (чем-то отдаленно напоминает Нотр-Дам – гаргульями, наверное; кстати, ассоциация с Крумловым была очень уместна: собор Марии для меня тут такой же маяк, как Церковь Нашего Спасителя в Копенгагене или цветная башня замка в Крумлове) навстречу вышли туристы, в одном из них мне померещился эстонец, который жил возле Дома культуры на Калеви и часто попадался на глаза. Разумеется, это был не он, а какой-то швед. Он подошел ко мне и спросил: ты местный? Я сказал: нет.

И все-таки не отпускал он меня, не знаешь, почему тут знак так странно стоит?

Я посмотрел: и правда странно. Сказать было нечего. Не знаю, и пошел. А сам думаю, что у меня в Дании тоже подобное было. Как-то увидел в одном пассажире в поезде моего напарника по ночным вахтам на мебельной фабрике, даже подойти захотелось. Понимаю, что не он, а влечет – сел рядом, точно погреться, и сидел, пока тот не вышел. Такое причудливое выражение ностальгии.

* * *

Я постоянно вижу людей, похожих на кого-то, и без всякой ностальгии. В жизни никуда не уезжал дольше чем на неделю, даже вообразить себе не могу, что это такое; тем не менее похожие люди встречаются чуть ли не каждый день, просто напасть, причем самые разные: похожие и на близких, и на дальних родственников, из прошлого и из настоящего. Но это ладно. Хуже, когда встречаешь кого-то из даже не из прошлой жизни или кого ни за что в эти дни видеть не хотел бы, например мою бывшую жену, просто наваждение! Несколько лет жили так, словно на разных континентах – только начали судиться, стала мне попадаться с периодичностью в неделю, обязательно, как наказание. Несмотря на это, все равно ни за что из Эстонии не хочу уезжать. Я скорее пожелаю всем людям, которых избегаю, уехать в Штаты-Эмираты, добиться всего самого немыслимого, я желаю им всем счастья в другом мире или в другой стране, лишь бы не видеть их, но сам ни за что никуда не уеду, даже если сюда въедут путинские танки с освободительными лозунгами, останусь. Я не мыслю свою жизнь не в Эстонии. Это не объяснить (как тот негр в Broken flowers: я готов всем устроить счастливое кругосветное безвозвратное путешествие). Понимаю, у тебя там красота, море, природа, ой-ля-ля! и так далее, но это все не по мне, не понимаю я «красоты», плевать мне на «море-природу-птичек», не умею любоваться обрывами, соборами. Мне это абсолютно параллельно, и не чувствую собственной ущербности. Я знаю многих, кто побывал «всюду-всюду», например, помнишь, тот брокер-воротила, про которого я тебе рассказывал, – он едал и крокодилов, прикормленных ягнятами, и акул, и омаров, и кальмаров, и обезьяний мозг, и все такое, а вот поймал, говорит, рябчика на Харку, изжарил в песке и воскликнул: ничего вкуснее в жизни не ел! Так вот, он где только не был, а пожил в Швеции и до сих пор утверждает: лучшая в мире страна, просто top of the tops, и не потому что там воду из крана пить можно, не поэтому, а даже, говорит, не объяснить: просто офигительно, и все тут.

Касаемо Швеции мне давно все понятно, окончательно меня добил Пригов, незадолго до смерти он сказал следующее: мол, в Швеции всего семь или восемь поэтов, зато им платят в виде стипендий миллионы, они бесплатно ездят на курорты, им даны в бессрочные аренды роскошные виллы, и хорошо бы так сделать и в России: «Семь-восемь, быть может, мало, но где-то пятнадцать было бы достаточно, потому что больше просто нет! (Я так засмеялся на этом месте, что вокруг стали на меня поглядывать.) И тогда бы было гораздо больше хороших стихов. А уважающая себя страна должна иметь качественную национальную поэзию!»

Как я хохотал, уже никого не стесняюсь! Сознывая невероятность, мечтательность, утипичность да и вообще праздность своих слов, он все равно говорил так, что меня аж завораживало, как будто такое и впрямь возможно, отсюда случился со мной такой неожиданный эффект: хохот до слез. Смеялся, как на спектакле. А он ведь от сердца говорил, всерьез, не юродствуя. И что тут остается, как не хохотать? Это ж абсурд и индальгирование в чистом виде! Но голос его никогда не забуду, запала интонация, прям сейчас пишу и слышу, как сквозила в нем безнадежность. Та самая безнадежность, с какой Реве писал (уже когда состарился и обнищал) о том, что его кошки, может, и доживут до тех дней, когда писателям повысят пенсию, а уж он-то сам точно не доживет. Ах, как Реве опускал Союз писателей за ханжество! За неспособность не только писать, но в первую очередь неспособность потребовать денег, мотивировать надобность повышения оплаты труда (чем писательскую профессию и дискредитировали)! Да, у Реве это было просто маниакально и скрупулезно.

Вот, кажется, скоро и у меня тоже начнется: бедность и безнадежность. (Маниакальность и скрупулезность всегда при мне, как ты знаешь.) В принципе, бедность уже меня захватила – я в ней купаюсь, как грешник в адском пламени, уносит она меня, как горная река, витками, затягивая вглубь, к мраку. Где-то там, у самого дна, ожидает меня нищета. Представляется она

мне плоской, сухой, но занозистой – занозами будут болезни. Незадолго перед самым непосредственным концом предвижу, что буду вымаливать себе каждый сент. Ходить по улицам и дергать людей за рукава: не хотите английский учить? Закроют нашу школу, как пить дать. Все к тому и клонится. Распад, зеленая жаба и тотальный контроль. И так групп нет, так скоро и того не будет. Я ведь банку должен – за адвоката (Стен Миллер берет немало, известная во всем городе личность: и правозащитник, и крутых криминалов отмазывает). Мне иной раз снится, как меня уводят из зала суда в наручниках, хоть это и перебор. За такое не сажают. Ох, эта тяжба меня доконает. Засудит меня жена на алименты, захочет она с меня получить враз кругленькую сумму компенсации за энное количество лет (будто я не помогал, Глебу одежду не покупал, за детсад-школу не платил), и придется мне еще один малый кредит брать у банка, пока дают, и ей алименты платить, и банку оба кредита возвращать, и адвокату... На что жить тогда? Матери я без того две с половиной должен (она не торопит, скулит: «Не возвращай», – но я себя уважать перестану, если не верну). Буду каждый ценник по полчаса изучать. Есть вариант: сдавать мою однушку за гроши, а самому жить у родителей (невыносимо) или, как Костя, в офисе: развернул рулет спального мешка и залег, утром свернул, в туалете помылся и к ученикам! Сегодня к нему захожу, а он мешок приготовил, сидит ужинает, а мешок уж постелен; я с ним чаю попил, поговорил, сердце излил, вот как тебе, те же слова, только устно, и пошел, а мешок у меня где-то под сердцем, как тень, свернулся. Чую: ждет меня спальный мешок в пыльном офисе, ей-ей, ждет! Думать не хочется! А что толку? Думай не думай, все к тому и идет! Одно скажу: в среднюю школу или профтех учительствовать не пойду (хватило с меня практики; лучше сразу повеситься, чем школьники: *to be finished would be a relief*); я и с практикой преподавания для взрослых мечтаю покончить поскорей. Пока нет ничего, подрабатываю уроками. Мучение, а что делать? Молюсь на Бинго. Почти как Слокум на гольф. Он сперва ненавидел гольф, а потом одержим стал и мечтал со ста ярдов, кажется, попасть в лунку. Один раз попал, и можно всю жизнь дурака валять, если что, можно сказать: «Я со ста ярдов попал!» Так и я: стыдился покупать, как порнуху какую-то, если не хуже, а теперь одержим и мечтаю однажды выиграть, ни о чем так не мечтаю, как заполучить куш. Раз выиграл, и ни на что в жизни больше можно не обращать внимания. Мне скажут гадость, а я в ответ заору: «Бинго! Бинго!» – и пойду дальше. Пусть думают – сумасшедший, мне все равно. Шесть билетов покупаю и в тетрадь переписываю: ровно три вмещается на страницу стандартного тетрадного листа в клеточку. Очень удобно проверять. Никогда не проверяю в аппаратах. Сам во время розыгрыша зачеркиваю номера. Все сам. Я не полагаюсь на аппараты. Да и мало ли что? Я себя знаю. Если зазвонит и скажут, что крупный выигрыш, так занервничаю, все поплывет, обливаться потом начну, всех кругом подозревать: а вдруг сейчас кассирша обманет, подменит выигрышный билет, или вдруг кто-то услышит, что выиграл, проследит, по голове шарахнет? Я все свои фобии знаю, потому наперед себя избавить от дискомфорта стараюсь, проверяю дома, в прямой трансляции. Так и живу: от розыгрыша до розыгрыша, от чемпионата Европы до чемпионата мира, от олимпиады до олимпиады и так далее. У каждого есть подобные вешки. Не все это признают, но я себя знаю и от себя эти стыдные вешки не прячу.

А вот еще: в связи с лотереей у меня появилась новая забава: рассматривать квартиры на сайтах недвижимости. Куплю свои шесть билетов и перебираю варианты. В этот раз на кону 20 тысяч евро – не особо разгуляешься. Но я же маньяк, я проделал калькуляцию, учел продажу моей однокомнатной + 20 тысяч выигрыша. Вариантов, честно говоря, учитывая мои капризы: чтоб Таллин, и чтоб поближе к центру, и чтоб как можно выше, желательно без соседей над головой – не так много, раз-два и обчелся. Есть тут одна четырехкомнатная, но ремонт требуется, в остальном – идеально. Ты и представить себе не можешь, как я расстраиваюсь из-за того, что квартира, которую я мог бы купить в случае выигрыша в комбинации с удачной продажей моей однокомнатной, требует ремонта, средств на который у меня после выплаты не

останется. Маркузе писал про «одномерного человека». Музиль – про «человека без свойств». А я – «человек модальности», ибо жизнь моя протекает в сослагательном наклонении.

* * *

Сколько громких слов. Посмотри, какой грохот вокруг! С души воротит. Материя ревет. Оглушительный поток. Сплав органики и огня, газов, металлов, пластмассы. Все это хлещет. Затопляет сознание. Тебя подталкивают к бордюру. Дождь шипит. Зонтики вращаются. Флажки трепыхаются. Светофор – красный. Вода пенится. Канализация пузырится. На мои ботинки. Шнурки развязались. Все равно. Я никуда не иду. Будет зеленый – останусь стоять. Пусть идут. По моим шнуркам тоже. Все равно. Дождь на лицо и за шиворот. Струйки. Скользкие червеобразные сгустки. Отрезать. Бросить в этот поток. Кто-нибудь сфотографирует. Status: A weirdo cut his shoelace off. Comment: He'd better cut off his cock¹. Глупый смех. Не толкайте меня! Может быть, я руки в карманах лезвием cutting my cock off. Толпа растет. Мой тайный протест. Не яйца прибить к Красной площади, так хотя бы отрезать и бросить. Ненавижу себя – баста! Откуда их всех принесло? Локти. Плечи. Толкотня. Стоять в толпе и тихо резать. Незаметно для всех. Сквозь штанину на асфальт. Плюх! Ботинком спихнуть ненароком в воду Поползет подталкиваемый как слизняк. Истечь и раствориться. Down in a sewer². Я насквозь! Всеми вами. Посмотрите на меня! Вода змеей влезает на тротуар. Разбегается ручьями. Покусывает мои ноги. Мокрые. Пустяки. Фантики. Лотерейные билетки. Вы все во мне. Я вами по горло. Машины и люди в них. Моллюски в раковинах. Поток бессознательный и безразличный. Куда это все? Что за вой твою мать? Молчите! Silence! Народ, безмолвствуй! Во-первых, Красная сумка: в этой сумке все мое детство... битком набитое подзатыльниками, бормочущий отец, как вечно текущий кран, нескончаемые наставления матери и ни одного велосипеда, даже роликовых коньков не было, старый теннисный стол и пара обшарпанных ракеток на вонючей дачке каждое лето... каждое лето... в школе воровал шарики, запасался... им было лень купить... лень сходить... о тебе не вспомнят... сядь, сиди в своей комнате... без телевизора... чемпионат мира?... чемпионат европы?... родокам плевать... ребенок одет-обут-сыт-крыша-над-головой... необходимое, основное. Вот когда во главе угла *необходимое*, вот когда *основное* заменяет все остальное, включая самые доступные мало-мальские радости жизни (чего стоило купить мяч не волейбольный за восемь рублей, а футбольный за двадцать? Каких-то двадцать рублей... Это около двух эстонских крон... в евро и того меньше. Нет, как за двадцать?! Это ж двадцать рублей! На какой-то мяч!), тогда начинается мое детство: узкий коридор, обставленный зеркалами лицемерия, ничего, кроме атласов и глобуса... цветные карандаши «кохинор» от тети Лидии из Чехословакии – бесплатно, на весь год, и еще посылки на семерых – карандаши, ластики, точилки; стопки тетрадок по две копейки – от другой тетки из Кехра. Все, ребенок упакован. Самое необходимое есть! Все удивлялись: умный мальчик, начитанный, так географию знает... так красиво читает... А что мне оставалось? У меня не было выхода... книги, чертовы книги... глобус, атласы, журналы... тайком делал из проволоки ворота, гонял карандашом скатанный из промокашки шарик... легко было прятать: выдвинул ящик и сгреб мое детство, задвинул, и снова – география, английский, математика... *необходимое, основное*... и теперь она каждый день трясет головой и блеет: *И что тебя, Пашенька, кормит, скажи на милость? Зна-а-ания...*

Один телефонный звонок. Damn! Как иногда один телефонный звонок может перевернуть все внутри! Дождь был источником райского блаженства до того как. Такой легкий летний дождь. В сентябре. На огромные стекла. Солнечные лучи переливались на стенах. Капли

¹ Извращенец отрезал свой шнурок. – Он бы лучше отрезал себе член (англ.).

² Вниз, в канализацию (англ.).

весело разбивались о подоконники. Музыка сфер. Подарок свыше. Когда он выходил из. Он выходил под дождь с радостью. Он горел. Светился. Его размывала изнутри песня. Как подземный родник подмывает корни огромного дерева. Его сознание переполняли образы. Новое изобретение. Идея. Которую он торопился воплотить. Так много всего нужно сделать. Три или четыре лжеаккаунта – в «ФБ», «Твиттере», «Инстаграмме». Несуществующие личности в разных частях света. Один аккаунт будет подкреплять другой, общие друзья. Паутина! Он готов был рухнуть в экстазе прямо в коридоре, перед бухгалтершей, секретаршей, директрисой и двумя сорокалетними ученицами, которые наперебой жаловались, что у них *пропали уроки-часы*, потому что их учительница пропускала – *не по нашей вине – по причине болезни ребенка – нас направили с биржи – государственное учреждение*. Въедливые тетки хотели, чтоб им *возместили* уроки-часы эстонского в виде дополнительных уроков или деньгами, потому что *в протоколе (вами подписанном, между прочим)*, который они должны отнести обратно на биржу – *своему контролеру, написано 50 часов* (обычное дело), *а мы отходили только сорок – и куда подевались эти десять часов?*

Все разваливается, думал Боголепов ехидно. Пусть разваливается! Я создам свой мир. Свою структуру. Непогрешимую.

Хотелось бы справедливого решения, слышал он за спиной.

Голоса женщин взвизгивали, как дрели. Боголепов знал наверняка, *по большому счету* никому нет до них дела: школа выставлена на продажу, бухгалтерша в доле, секретарша уйдет вместе с ней – никому нет дела до приписок (зачем их тогда делать, инерция?). Скоро этот балаганчик, торгующий волшебными знаниями иностранных языков по частично скопированным рецептам русских американцев, которые, перебравшись на волне брежневской деменции в Штаты, изобрели легкий способ наживы на ленивых мозгах, будет разобран (половину уже демонтировали). Еще прошлой весной он работал как ладный механизм, приносил прибыль, люди были счастливы, директор вывез всех в Берлин, устроил экскурсию по городу и национальному музею, вечер в ресторане, концерт классической музыки; никто не думал, что в считанные недели школа растает, как какой-нибудь мираж. Пятнадцать лет все в городе знали, что такое *Verba*. Никакого отношения к растению. Омофон. От латинской поговорки *Verba docent, exempla trahunt*³. Большие медные буквы вдоль коридора производили сильное впечатление. Их сняли теперь. Остались тени, которые скоро закрасят. А те надписи с обезьянкой, символом школы, что были на лестничных стенах, уже забрызгали спреями. В углу поджидают картонные трафареты для будущих надписей, стремянка, валики, банки. Тут будет дантист, рядом с ним косметолог, в конце коридора – модный парикмахер-стилист. В кабинете покойного директора расположится массажист-остеопат: нетерпеливый, он каждый день приходит и что-нибудь приносит – полотенца, крем, халаты, – складывает в закутке секретарши, потирая руки, прогуливается по этажам с характерной улыбочкой и многообещающим взглядом: «я вам всем тут косточки переберу». Из восьми кабинетов функционируют три. Все идет на продажу. Боголепову казалось, что закрасили не только название, разобрали не только кабинеты, но и часть его жизни. Не то чтобы он жалел. Последние семь лет были такими же безрадостными, как и предыдущие десять (с проблесками, которые были слабым утешением). Во-первых, где теперь искать себе применение? Всегдашняя морока, похожая на возобновление болезни, от которой, думал, отделался, а она опять вылезла. Во-вторых, скоротечность пугает, та легкость, с какой приходят изменения, – как землетрясение какое-то! Смерть одного человека может все перевернуть с ног на голову. Забыл восьмидесятые? Выходит, забыл. За последние пять лет совсем расслабился. Несмотря на глобальный кризис, они были своеобразным застойным периодом. Жил в бедности и не искал лучшего. Зачем суетиться, когда и так хватает... Кое-как ползешь, и ладно. Две-три поездки в Лондон – Хельсинки – и можно не думать о большем.

³ Слова наставляют, примеры увлекают (*лат.*).

Одна поездка действует как наркоз на три-четыре месяца. Увлекла тяжба с женой. Забылся. И на тебе! Все перевернулось. Очень своевременно вышел закон о сокращении. Никаких компенсаций. Прямо подгадали. Раз – и школа на аукционе! С пятидесяти тысяч почему-то урезали до тридцати. В чем там дело, никто не знает. Кроме участников переговоров. Не нашего ума. Школу пилят, не видите? Бренд тем, работников этим. Выставьте и меня тоже! Я согласен. Вспомните Радищева! Языки знаю, все зубы на месте. Могу статью написать. О чем угодно. Доказать существование Бога и обратное. Продайте меня как приложение к курсу, который я написал. Кому ты нужен? Сорокапятилетний. В таком возрасте отцы шли в лес за сыновьями на убой. Подобрал бы меня какой-нибудь немец. Пригрел бы как Душечку. Ходишь по коридорам, сидишь в кабинете, разговариваешь с посетителями, тестируешь их и понимаешь, что все это бессмысленно. Пятнадцать лет мираж влек сюда бедуинов. Шли караванами. Кто с улицы, кто из социальных сетей, кто с рекламным купоном, заплывшим в почтовый ящик вместе с «Яной». Люди на что-то надеялись. Языки открывают мир, полный возможностей. Работники верили, что учат чему-то, а наивные думали, что чему-то учатся. Взаимное доверие. Рекламы, внушаемость, договоренность. Год за годом биржа отдавала школе тендер, полагая, что, сплавляя сюда безработных, они частично снимают с себя ответственность за неспособность как-нибудь устроить обреченных государством на прозябание, – наверное, на бирже тоже верили в магию, полагали, будто в балаганчике что-то происходит, движется, развивается, и даже в согласии с интеграционной риторикой, которая все больше входила в моду, но вдруг директор приказал долго жить, и все полетело в тартарары. Его рерихнутая жена (хозяйка оккультной лавочки) мгновенно испортила прекрасную игрушку, два-три движения – и все загублено, ниточки поползли во все стороны, стало понятно, что вся организация держалась на одном человеке, который – вот парадокс – не говорил ни на одном языке (покойный директор знал только русский), зато умел работать с людьми и торговать, мог продать что угодно. Чем он только не торговал! В середине девяностых арендовал парочку гаражей, собственноручно оборудовал их аквариумами, лампами, утеплителями и спокойно упаковывал плодородную, по скандинавским инструкциям обработанную, взрыхленную малайзийскими червями почву – сельское хозяйство еще не погубили, поэтому покупали хорошо, заказчики множились, гаражи росли как грибы, пока не наехали бритоголовые абреки. «Да и так все накрылось бы вскорости, – вздыхал Алексей Викторович, потаенно улыбнувшись, добавлял: – Что ни делается, все к лучшему». Был оптимист. Испробовав то и это, всюду получив по носу, взялся, наконец, за знания – самое скользкое, самое неприметное и непонятное для бандитов занятие. Как тут наедешь? Пытались, искали волшебные порошки, микстуры, пробирки, не нашли, к чему прицепиться, погрозили пальцем, ушли. Только теперь, когда до них дошло, что можно без конфликтов вкладывать деньги в обучение (даже построенное на столь сомнительном фундаменте), они вернулись: по слухам, балаганчик хотели купить именно «бывшие» бандиты, через какое-то подставное лицо – владельца компьютерной шарашки, торгующей завезенными из России видеоиграми.

Во-первых, смылся... Матроны опять устроили поминки-посиделки. Они плакали. Всем дамочкам за пятьдесят. Слезливые истерички. Одинокие читательницы Мулдашева и Марининой. «Демоны Да Винчи». «Все оттенки серости». Их так подкосила смерть директора. Он нас покинул, отправился на Небо, как Отдыхающий Бог. Ему нет до нас дела. Утлый мирок идет камнем на дно. Вуе-буе! Все привычное разом растворилось. Вроде бы те же стены, кабинеты, коридоры, учебные пособия и ученики – все то же самое, тем более языки, – а нет, *тут что-то не то...* Именно! Что-то не то... Чего-то не хватает... Чего?

Что это? Та маленькая пуанта нехитрого фокуса, которую надо уметь скрыть, а затем вовремя показать, иначе представление идет насмарку и под свист, топот, улюлюканье в фокусника летят помидоры, пустые стаканы, пивные пробки. Боголепов уважал и ценил Алексея Викторовича именно за это: он знал свою скромную роль в им созданном театре и играл ее

безупречно. Покойному удавалось проделывать трюк так искусно, что никто не понимал, что тут был какой-то трюк. В душе Боголепов им восхищался. Конечно, тут был нужен особый дар антрепренера: сделать шатер с факирами сертифицированным учебным заведением, в котором, как сулили рекламные постеры, расклеенные по всему Таллину, за небольшие деньги в несколько недель под рэйки и суфи-музыку любого погрузят в тезаурус иностранного языка, пропускать годами сквозь свои сюрреалистические кабинеты тысячи и тысячи людей – предпринимателей, врачей, артистов и культурных работников, не без успеха (!): многие утверждали, что им *помогло*, они *заговорили*, они *продвинулись*, *вышли на новый уровень*, *готовы продолжать*, – в то время как сам директор не говорил ни на одном языке (за пятнадцать лет никто не задался вопросом: отчего он так и не воспользовался волшебной комнаткой?); заставить людей поверить в то, что твоя холотропная система (наполовину заимствованная – но кто об этом знает?) открывает языковые чакры, работает, да так хорошо, что тут, за этой дверью, заговорит по-французски и осел, – ну, чем не Хаджа Насреддин?! (Неспроста, ой неспроста, он позволял на одном со школой этаже брать в аренду кабинеты суицидологу, ароматерапевту, гомеопату и специалисту по фен-шуй – рядом с ними его лаборатория с кристаллами и суггестивным речитативом была просто сокровищницей знаний.) Себе Алексей Викторович отводил скромную роль. Каких-нибудь два-три слова, теплое приветствие, напутственная речь, трогательно произнесенная перед началом и по окончании курса (с какой серьезностью вручал дипломы!), и еще – умел обволакивать тихостью: изящная визитная карточка, мягкое рукопожатие, гипнотическая замедленность жеста – и люди менялись, во всяком случае на время посещения курса, в этом коридоре на них воздействовал образ директора – тонкого сердечного человека с бархатным баритоном и манерами интеллигента-шестидесятника в маленьких круглых очках, как у Джона Леннона, с прижатой к груди брошюрой или словарем (узкие плечи, впалая грудь, острый воротничок, тонкая шея). Такая ничтожная деталь, такая хрупкая фигура. Хрупкая. Ничтожная. Мимолетная. И роковая! *Всем нам теперь нам всем так его так не хватает*. О, как они плакали... Навзрыд! *Не хватает...* Да без него никуда! Без него все видят, что это просто фарс! Сколько глупостей Боголепов выслушал о *гениальном директоре* – никто так и не понял, в чем была его так называемая гениальность. Никто не понял, что этот образ интеллигента-шестидесятника был старательно подобран, директор надевал его и носил каждый день, как рабочую одежду, словарь и очки оставались в его кабинете – об этом никто никогда не задумывался. Он был гениальным продавцом. Превратил ремесло в искусство. Никто и не замечал, что попадает не в школу, а настоящий театр. Они рыдали и говорили: *он так любил свое дело... он так любил языки...* Господи, он и червей своих любил не меньше, и турецкие сладости, и детские игрушки – любил бы и дальше, если бы дали торговать спокойно, а не жгли гаражи, киоски, машины. Но женщины просто помешались, они стонали каждый день... нескончаемый поток слез и фантастические фрески, легенды, мифы. Героический эпос «Песнь о славном Директоре». Ни одна из них не знала его, не поняла, не смекнула. За несколько месяцев каждая состарилась лет на восемь. Оркестром плакальщиц управляла невыносимая сектантка. Поминали, как студентки. Кофе, коньяк, шоколадка. Дешево и сердито. В наши дни это просто устроить. Кризис всему голова. И музыку подобрали соответствующую. *Stars on 45*. Он ринулся к выходу но: «Павел, посидите с нами», – пришлось посидеть. Четверть часа. Павел поджимал губы и терпел. Сектантка выступила и вышла (всплеснули носовые платки). Сразу стало легче, словно сорвали пыльные шторы. Остальные сносно. Всхлипы в духе *где мы все будем, когда кончится лето?* К кому перебираться? К Георгию? К эстонцам? С оглядкой на дверь перемывали кости новой директрисе. Надежды, что Эльвира удержит школу, а следовательно, учителя сохранят за собой места, не осталось.

«Она ненавидит школу всем сердцем».

«Она сживает нас со свету».

«Она нам всем мстит».

Нет, Эльвира мстила творению мужа, который бросил ее. Сменила логотип. Выбросила обезьянку Никки, которая прыгала с ветки на ветку в рекламных мониторах общественного транспорта. Пальма эстонского языка: тере! Кас рягите эсти кеелес? На куст английского языка – прыг: ду ю спик инглиш гуд энаф? На немецкий пенек, хвать пирожок: шпрехен зи дойч? Прimitивная компьютерная анимация – семь лет назад, когда реклама появилась на местных коммерческих каналах, может быть, это и выглядело круто (творение серого косоного программиста с тремя прядями поперек плечи), но в наши дни это как-то убого. Обезьянку озвучила дочка директора, которая давно живет в Берлине, работает в фирме хедхантинга, у нее самой две такие же анимационные дочки. Дурочка, которая сшила и придумала обезьянку (и ни копейки не имела с этого – пожертвовала, блаженная, ради общего дела), хотела вернуть куклу и попалась охранникам, с ней разбирались полицейские, потому что она – трижды дура – влезла в уже закрытые под электронный сургуч помещения, где хранилось старье, в том числе и ею сшитая обезьянка. Эльвира смеялась: *ну, конечно, Лена, вы можете забрать свою обезьянку, нам она больше не нужна*. Дурочку отпустили. Директриса усмехалась: *что за люди...* Ей было не понять. Какие-то сентиментальные вещи... Обезьянка... Подумаешь! Она отменила все рекламы. Хватит! Отпрыгалась! Вся суфистика с разноцветными лампочками отправилась на свалку, то есть в комнаты для медитаций. Это была настоящая месть. Так ненавидеть может только стерва. Накипело. Бьет через край. В пустоту. Мягкого человека не поднять из мертвых и не плюнуть в лицо. За что? За то, что сгинул, не спросив! Надо что-то растоптать. И она топтала его бизнес.

Первым делом назначила менеджером своего любовника – пропахший супом и котлетами мешковатый учитель биологии, уволенный из школы за незнание эстонского, приносил обеды в термосе и пластмассовой коробке, просиживал зад в кабинете, почитывая «Дельфи». Сектантку утвердила куратором проекта, который Боголепов задумал с директором (идея была моя, но где это записано? – там же, где и авторские за составление курса).

«Это все Зоя Семенова виновата. У нее был роман с директором. Вот Эльвира и мстит...»

Никто не знал наверняка, было ли там *что-то*. Одно знали точно: Алексей Викторович был влюблен в Зою. Ухаживал, дарил цветы, подвозил на машине, водил в ресторан, отмечал в школе ее дни рождения, избегал ее мужа (все замечали неловкость).

Однажды ни с того ни с сего принес свой студенческий дипломный чертеж какого-то двигателя, повесил его в рамке на стену, как картину, и долго рассказывал о том, как работал над ним, сколько раз переделывал (наверное, это было частью своеобразного ухаживания). «Вот тогда-то я и научился правильно точить карандаши», – сказал он.

Точить карандаши было любимым занятием директора: это его успокаивало – и других. Заходишь к нему, а он сидит, с довольным видом карандаш правит, пробует его на бумаге, трогает подушечкой большого пальца, шуруется и с благодушной улыбкой ставит в карандашницу – смотришь на него, и тепло на сердце становится.

Эльвира каким-то образом прознала о его влюбленности (возможно, донесли), ревновала; скандалистка по натуре – могла наброситься с кулаками – тем не менее обошлось без сцен, разве что говорила с Зоей подчеркнуто вежливо. На праздниках, которые Алексей Викторович устраивал в самых неожиданных местах (однажды по ошибке отмечали в ресторане, где на втором этаже был бордель), Эльвира тоже появлялась, и все видели, с каким трудом они втроем держатся: Алексей Викторович терял самообладание, было очевидно, что он переживал самые ужасные мгновения своей жизни – страсть и ужас смешивались, он сильно пьянел, делался бледным; все переживали, как зрители в театре; Зоя старалась казаться натуральной, но переигрывала; Эльвира носила отвратительную резиновую улыбку, громко рассказывала про диеты, йогу, Васанта Джоши, но все это было ширмой: по ней было видно, что за духовностью – Рерихом, иконами, святыми и Индией («Это такая страна! Вы просто обязаны съездить в Индию! Как можно жить, не побывав в Индии?!») – скрывалась необузданная животность.

Алексей Викторович умирал полтора месяца. Все это время наточенными им карандашами пользовались: и секретарша, и бухгалтер, и жена. Он лежал в коме, а в школе тем временем творилось черт знает что. Бухгалтерша чуть не оттяпала себе большую часть предприятия, которое состояло из нескольких фирм-поплавков (сегодня есть, завтра нет), всеми делами этих фирм – сокрытием доходов и неуплатой налогов, увольнением работников «по собственному желанию», их наймом в новой фирме, исчезновением учеников и приписыванием фантомных затрат – занималась бухгалтерша, многие нематериальные активы – лицензии, патенты и прочие объекты интеллектуальной собственности – по бумагам принадлежали ей (когда-то она убедила директора, что так безопасней, и он согласился, с тех пор, регулярно уничтожая и воссоздавая фирмы-поплавки, она переписывала всю продукцию и все проекты на свое имя). Узнав о намерениях бухгалтерши, Эльвира пришла в бешенство. Где-то что-то разбилось. Карандаши летали как дротики. Поговаривали о какой-то драке. Кто-то на кого-то собирався подать в суд. Казалось, по мере угасания жизни директора умирало и его дело. Затем шептались, будто компромисс найден, но никому от этого легче не станет: школа будет продана.

«Потому что Эльвира не в состоянии вести дело».

Каждый день натыкалась на что-нибудь непонятное и теряла самообладание. Предприятие, которое казалось таким основательным, прибыльным и перспективным, даром что требовало времени и сил, так еще и разваливалось на глазах. В сейфах обнаружили директором подписанные бумаги, свидетельствовавшие об обязательствах перед туманными вкладчиками, представитель интересов которых слез со стремянки, снял халат электрика, надел деловой костюм и предложил пойти на грабительскую сделку. У Эльвиры сдали нервы. Помимо этих неприятностей, предстояло принять страшное решение. Какая-то интрижка с учительницей больше не имела никакого значения – все это в прошлом, которое немедленно станет очень глубоким прошлым, как только в больнице отключат аппарат жизнеобеспечения.

Поэтому когда говорили, что Эльвира в первую очередь уволит «пассию директора», они ошибались: Зоя проработала до сентября и уволилась сама – у нее и правда не было групп, так как их уже никто не набирал. Даже для Боголепова. Он ходил туда по инерции. В надежде рядом с Зоей увидеть ее фантастическую дочь. Своей презрительной ухмылкой Аэлита сводила его с ума. Иногда она сидела на пластмассовом стуле в фойе: небрежно, по-ковбойски вытянув ноги в грязных полусапожках с острыми носами, читала какой-нибудь роман с кошмарной готической обложкой (в последний раз – «Тень автора» Джона Харвуда). Освещенная мерцанием смартфона, с отсутствующим видом шла по сумеречному коридору: джинсы, спортивная кофточка *PUCK FUTIN!* красные кеды с разноцветными шнурками, *ponytail* Лары Крофт. Он смотрел на нее, и время замедлялось; ему казалось, что никто, кроме него, ее не замечает. Павел останавливался, пропускал ее, чувствуя, как в горле растет сухой ком. Аэлита исчезала, а он, поперхнувшись, спешил в туалет, с мучительным наслаждением умывался и, как в детстве в жаркие дни, пил ледяную воду.

Ее мать появилась у самого лифта. Он за ней. *Прошу прощения на бегу.*

– Зоя, подожди, пожалуйста!

Она задержала лифт. Улыбаясь: *ну?..*

– Спасибо.

– Что случилось?

– Нет, ничего.

– Куда летишь?

– Никуда. Просто, – понизил голос до шепота (в лифте!), – искал предлог сбежать.

– Тоже никак?

– Да.

Оба смущенно улыбнулись.

– А ты?.. – неловко спросил Павел. – У тебя группа или?..

- Нет, я вещи забрала. Ухожу. Все. С концами.
- Не секрет куда?
- Нет, не секрет. Я свое дело открываю. – Он поднял брови, будто первый раз слышит. – Об этом с тобой хотела поговорить.
- Это было ожидаемо. Но виду не подал.
- Конечно. Мой телефон знаешь. Звони!
- А сегодня?..
- Сегодня совсем никак. Тороплюсь, – соврал он (надо оставаться скользким объектом).
- Понимаю. Подыскал себе что-нибудь?
- Перебираю варианты... – И прочистил горло для важности (врать так врать).
- Я позвоню. – И после паузы добавила: – Оказывается, меня заманить пытались. Все друг друга тянут, кто куда... Хаос.
- Да, точно, *panic on the streets of London*.
- Если б *London*, – горько усмехнулась Зоя.
- Я никого никуда не тяну, – улыбнулся.
- Зато я тяну. Добавлю тебе еще один вариант. – Опять смущение (ей идет).
- Хорошо. – Двери. Он пропускает ее вперед. В вестибюле только вахтер. – Сугубо между нами, один вариант я сплавил в небытие сразу: Кудрявцева предложила кое-что, но так как я ее не выношу...
 - Я тоже. – Зоя шумно выдохнула. – Еще с универа.
 - Вы учились вместе? – Его глаза загорелись (всегда замечала, что любит сплетни).
 - Да, – посмотрела в сторону лестницы: никого. – Она была нашей старостой.
 - Господи!..
 - Ты представить себе не можешь, какие она номера откаблучивала... Вплоть до того, что набивалась на похороны матери нашего декана. Ее всегда тянуло...
 - Некрофилка?..
 - Не думаю, просто ей хотелось, как бы это сказать... Не спешишь?
 - Пять минут есть.
 - Да это много не займет. В общем, она все время старалась не то чтобы в душу влезть или вызнать, кто с кем спит, нет, ее больше интересовало, кто чем болен, у кого где родинки-бородавки... Мелкое извращение, и это как-то совмещалось в ней со склонностью к общественно-полезной деятельности. В одном ряду с обычными вопросами она готова была обсуждать месячные, придатки, тампоны, оставленные в ванной общежития, прямо на собрании в присутствии парней. Слава богу, ее затыкали. Я. Поэтому она меня тайно ненавидит. Поэтому меня и сняли с групп, как только она появилась. Нет, вынырнуть из книжного магазинчика и тут же произнести речь над могилой – вполне в ее духе. Она родилась для таких моментов. Кстати, у нашей директрисы она не только торгует эзотерической литературой и амулетами, она там какие-то собрания ведет, типа семинары, объясняет, как пользоваться приобретенными оккультными бирюльками. К ним туда ходят всякие старушки... Ты бы видел ее сына! Настоящий вампир из «Сумерек», гот, весь в пирсинге и тату. Зато в компьютерах шарит. Что неудивительно, ведь она сама с этого начинала. Для нее когда-то компьютеры были своего рода религией. Трепетала. На спецкурсы по информатике собиралась, как в церковь, перебирала свои бумаги, книги и шептала: *все взяла, ничего не забыла...* Включит компьютер – помнишь, как они раньше шумели? – и говорит: *ой мама, я сейчас кончу...* А теперь хочет людей обучать языкам в транс. Меня это ничуть не удивляет, потому что она по своей сути всегда такою была: гадать у свечи перед зеркалом или духов вызывать – любимые занятия. Перепробовала все. Продавала таблетки от кровяных червей. Это тоже была еще та секта.
 - Это те шарлатаны, которых разоблачили и пересажали?
 - Да, лет десять назад, если не больше. Она и меня тоже к ним водила.

– Да? Ну, и как?

– Устроили представление. Втирали мозги, брали кровь и внушали, с демонстрацией какого-то видео, что там якобы у меня есть черви в крови, от которых только их таблетки могут помочь. В общем, зомбировали...

– Ужас. И как ты решилась пойти?

– Любопытно было. Я не собиралась *лечиться*. Просто хотела посмотреть.

– Ого! Ничего себе: *просто посмотреть*... – Он вдруг подумал, что знает одного человека, кто тоже пошел бы на такое – *просто чтобы посмотреть*.

– Знаю, ты бы от брезгливости умер.

– Я бы ни секунды не думал, – сказал он автоматически, делая стремительное сопоставление Зои и своего знакомого, – ничего общего. Странно. – И как ее не посадили? Их же всех привлекли. Разветвленная интернациональная мафия. Пирамида!

– Вот так, не посадили, значит. Теперь она опять у нас появилась и всеми манипулирует. Я когда дома рассказываю о том, что тут творится, Эля бесится: «*Как ты можешь дышать с этими идиотками одним воздухом!!!*»

Он чуть не вздрогнул, когда услышал имя девочки. Мурашки побежали по коже. И запахнулся душой. Открылись стеклянные двери. В холл вошли люди, вместе с ними ворвались звуки улицы, запахи выхлопных газов. Люди идут мимо. Складывают мокрые зонтики. Шуршат пакетами.

– Кажется, на улице дождь, – сказал он.

– Да, – в ее сумочке зарычал телефон (лев Лео, MGM). Павел хотел проститься, но Зоя жестом задержала его, отвечая на звонок:

– Speaking of the witch⁴. Она!

– Yes, Ally, we did. Who? Me and Pavel, friend of ours. Yes, that Pavel⁵.

Обо мне! Я. *Friend*. От смущения он готов был провалиться, точно Аэлита могла материализоваться тут в любую секунду.

– Okay... Yes, but... Please... could you do me a favor... Please, listen to...⁶ – Она отвела от уха телефон и, посмотрев на него с гримасой третьесортной голливудской актрисы, сказала: – She hanged up on me!⁷

– Дети, – сказал он растерянно, стараясь не дрогнуть голосом.

Пока она прятала телефон в сумочку («Сказала, что уходит и не знает, когда вернется, и бросила трубку»), он мысленно наложил на ее лицо образ Аэлиты и с облегчением понял: ничего общего (отдаленное сходство Зои с Джинной Роулэнде вытесняло из нее образ дочери). Двадцать лет пройдет – Аэлита не превратится в свою мать, она станет другой: сухой, как отец, возможно, унаследует алкоголизм и язвительность. Видимо, в какой-то момент отец для нее стал гораздо важнее матери (нельзя же все объяснять генами, человек намного сложнее спирали ДНК и может выходить за грань любой структуры, не только социальной, но и биологической). Судя по тому, как Аэлита бесится, кричит, кусает всех вокруг, скандалит в школе, бьет своих парней, она станет такой же взрывной и эксцентричной, как ее писатель-отец; во всяком случае, ее посты в тысячу раз круче, чем его книжки, статьи, реплики, жесты, значит, сама тоже станет в тысячу раз язвительней и злей.

– Семнадцать лет. Пора бы манер набраться. Но это мое упущение...

– Ну, а какие мы были в семнадцать? Я так гулял, что ого-го...

– М-да...

⁴ Помяни чертовку (*англ.*).

⁵ Да, Элли, мы говорили. Кто? Я и Павел, наш друг. Да, тот самый (*англ.*).

⁶ Ладно. Да, но... Пожалуйста... Не могла бы ты сделать мне одолжение... Прошу, послушай... (*англ.*)

⁷ Она бросила трубку! (*англ.*)

Раньше его занимало, почему они с дочкой говорят по-английски: ему это и нравилось, и не нравилось, казалось каким-то выпендрежем: жить в спальном районе и говорить по-английски. Потом он случайно узнал, что это придумала Аэлита, и перестал задумываться. Всем ее выкрутасам он находил оправдание. Он боготворил ее.

– Хорошо она говорит?

– Лучше меня. С ошибками, но намного смелее. У нее богаче диапазон и запас. И свои ошибки она оправдывает тем, что они натуральны... – Передразнивая дочь: – *Англичане сами с такими ошибками говорят.*

Павел кивнул.

– Да, верно. Как сказал Бруно Крове, язык, на котором говорят англичане, что угодно, но только не английский, это не язык вообще.

Она засмеялась смехом, в котором можно было расслышать... Нет, ноток дочери не было. И слава Б. К черту!

– Ну, если ты говоришь... – Зоя легко перевела дыхание. – Ты в Лондоне бываешь чаще, чем мы на даче. Да мы туда и не ездим. Элю туда ничем не заманишь.

Его грудь налилась озоном; в голове промелькнули солнечные зайчики.

Зоя продолжала:

– Она говорит, что не на дачу нужно ездить, а в Англию... Сел и полетел на выходные. Что тут сидеть?

– Да, верно: что тут сидеть? – О нем говорят. Она говорит. – Бывают дешевые рейсы. Надо ловить момент. – Он задрожал и покраснел. Покашлял в кулак.

– Если б все было так просто... Я пообещала ей, что спрошу тебя, как там лучше добираться, где остановиться, и всегда забываю. У тебя наверняка нет времени на подобные *консультации*...

– Да ты что! О чем речь! С радостью. Все знаю, все напишу подробно. Если хотите, даже сам с вами полечу! Это я шучу, конечно.

– А что, давай полетим все вместе. Будет веселее. Только... *этого* надо расшевелить, он опять *впал в депрессию*...

Этого... Ничего себе, как она о нем! *Депрессия*. То есть пьет. Злая.

– Понимаю. Сам держусь седьмой год.

– Молодец, вот она – воля.

– Никакая это не воля.

Они вышли под козырек на крыльцо. Мимо ехал троллейбус, притормаживая. Дождь шел взапуски. Зонта не было.

– Такси, что ли, взять?.. – проговорила она сонно. – Нет, пойду в кафе. Может, все-таки посидим?

Отказался. Больше не в силах находиться рядом с ней. Не в состоянии прятать счастье, которое переполнило его. В мечтах он уже летел с ними в Лондон... воображение уносило... Поскорее остаться одному! Бродить по улицам Старого города, петлять, невзирая на дождь, никого не видеть, фантазировать... В каком-нибудь кафе выпить кофе... Одному.

Рассудком он понимал, что никуда они не полетят, но сейчас, завтра, весь месяц можно себе позволить... Короткий разговор, незначительный, но такой малости достаточно для того, чтобы его воображение ткало из ночи в ночь персидский ковер фантастического путешествия... три, четыре волшебных дня... Он придумает эти дни в мельчайших подробностях; он снимет в своем сознании настоящий фильм; в очередной поездке в Лондон на все вокруг он будет смотреть своими и ее глазами, Аэлита будет рядом – месяц, три месяца, год – это можно тянуть до конца жизни. Когда-нибудь, на пороге полного провала в маразм, выдуманный трип станет более подлинным, чем вся эта тухлая реальность. Вот тогда-то... тогда... мы и будем

по-настоящему вместе! И потом, о нем говорят в их семье... *Вот так надо жить!* Молодец, Аэлита! Правильно!

Боголепов считал свою жизнь образцово-потерянной. Если жизнь – роман, то заглавие его романа: «Жизнь утраченных возможностей». Он мог смело про себя сказать: «Я всё профукал, я – мот всех моих залежей и ресурсов», за что, как он сам считал, и был наказан убогой квартиркой, рутинной, работой, бедностью, одиночеством. Однако умел находить лазейки, как никто другой; это умение выпрыгивать из плена времени считал одним из немногих им реализованных талантов; и удавалось это ему только потому, что в сердце Боголепов верил: такие прыжки надо совершать, потому что кто знает, однажды такой финт может все исправить, ибо ветхие страницы грассбуха мироздания должны иметь дыры, сквозь которые можно проскользнуть в другую жизнь, и все наладится. Тех, кто примерял и пользовался им обнаруженными ходами, выводящими за пределы пошлости хоть на час, он внутренне приветствовал и считал своими духовными соратниками.

Чтобы осуществлять эти вылазки, ему приходилось больше работать. Он много переводил: субтитры для телевидения и театров, различную документацию, резюме научных работ, расшифровки интервью с диктофонов. Был активным членом сайта Translators cafe (которое уважал за анонимность), оттуда получал большую долю всей работы, но там платили по договоренности, а денег ни у кого не было, часто ему казалось, что могли вовсе не заплатить (такое случалось, не с ним, но этого было достаточно, чтобы нервничать), деньги в таком случае переводили через PayPal или «Контакт», и он всякий раз чувствовал себя преступником, когда шел получать перечисления в пункт «Контакта» (как-то ему не доплатили десять долларов, он не стал скандалить, сильно разозлился, молча занес человека в черный список, это была женщина, которая попросила его перевести ее статью о московских выставках современных художников из Китая на английский, договорились на тридцать долларов, он все сделал, даже дополнил и откорректировал оригинал, чему она была очень рада, – позже обнаружил свою работу на престижном американском сайте, заказчица не только ободрала его, но еще и недурно заработала). После этого случая он боялся брать такие переводы, раздумывал написать что-нибудь свое – эссе... попытался, но не пошло, да и кому это нужно?.. Бросил и через месяц, преодолев в себе опасения, снова стал переводить. Возня отнимала много времени и сил, денег на поездки не хватало, что неизбежно привело к стратегии жесткой экономии, отказывал себе в пище, перестал есть мясные продукты, вызывая в людях изумление – «убежденный вегетарианец», говорил он (и пусть все катятся к черту). Ради той подлинной жизни, которая происходила на концертных площадках и часто казалась ему сновидениями, вызванными кислотой, он был готов пожертвовать многим.

Перемены, которые могли бы произойти с Россией, если б не болван Ельцин и его кровопийца-преемник, или с Америкой в случае победы Чарльза Линдберга на выборах в 1940 году, или те метаморфозы, что случились с Кастанедой после встречи с Доном Хуаном, не сравнятся с тем, что произошло со мной 19 июля 1991 года на Рок-саммере, когда я увидел The Stranglers.

При любой возможности он находил время и деньги, чтобы выбираться на концерты в Стокгольм или Хельсинки, в Ригу или Вильнюс (несмотря на то что панически боялся России, он дважды ездил в Петербург и Москву поездом). Ему понадобилось десять лет, чтобы преодолеть аэрофобию (ради этого он посещал сеансы гипноза, которые проводил пожилой заезжий психоаналитик, – разумеется, хранил это в секрете). С тех пор он настойчиво пополнял свою сокровенную записную книжку, в которой было четыре столбца: date, place, name, set list. Ни один поэт не выводил слова любви с большим трепетом и чувственностью, чем Павел, когда писал: Hammersmith Odeon, Earl's Court, Royal Albert Hall, Rockpalast, Hovet, Glastonbury, Théâtre de Poche, Paradiso (Amsterdam), Tavastia. В беседах он старался произносить эти названия непринужденно, как бы невзначай, при этом его переполняло волнение, гордость; он вспо-

минал о своих поездках в Амстердам или Лондон, как альпинист вспоминает покоренные вершины или солдат – сражения, в которых принимал участие. Впрочем, и менее легендарные места, более похожие на сквоты или трещины в отполированном мире, заставляли его сердце ликовать, когда он видел на сцене барабанную установку, микрофоны, клавишные и прохаживающихся работников сцены, настройщиков с гитарами, чуял дух марихуаны, пота и алкоголя.

Из странного суеверия, помимо фотографий, Павел хранил какие-нибудь мemento: ленточки, билеты, браслеты, талончики (забавное изобретение европейского ума: ты ничего не покупаешь на концерте, кроме талончика, который можешь обменивать на алкоголь, воду, шоколадку и т.д.) – их он прикреплял к картонным страницам больших альбомов, приобретенных отцом еще в восьмидесятые. На редкость крупные, в кожаных переплетах, альбомы стояли на книжной полке в главном родительском шкафу – гроб, в котором покоилась литература, – и для невнимательного глаза запросто могли сойти за книги, к которым отец не разрешал прикасаться. Стекланные створки шкафа никто никогда не сдвигал, их только протирали снаружи. Несколько лет назад мать попросила Павла остаться с отцом, чтобы она могла сходить в церковь. Отец неожиданно уснул. От нечего делать Павел перебирал книги, дошел до альбомов, мстительно вынул, заполнил образовавшуюся пробойну тремя томами Стриндберга, что лежали в бабушкином комоде под замком (ключик блуждал по баночкам из-под крупы – найти не представляло труда), унес домой – никто не заметил.

Сначала он вкладывал в них только билеты после тех концертов, что произвели самое сильное впечатление; затем это переросло в привычку, которой он до недавнего времени страстно потворствовал: клеивал ленточки, подобранную спичку, распечатывал большие цветные фотографии; особой гордостью был медиатор, который выбросила в толпу прекрасная Кирило, медиатор описал сверкающий полумесяц, ударился в лоб рядом стоящего болвана и упал Павлу на плечо; с неожиданной для себя ловкостью он прихлопнул его, как комара, в следующее мгновение ощутив на себе сразу несколько рук. До недавнего времени наполненные альбомы лежали на стуле возле изголовья его кровати, перед сном он их подолгу листал, продумывая, куда бы еще поехать, какую фотографию вставить – ведь можно добавлять страницы, клеивать... или купить новый альбом? Однажды после сильного стресса (встретил в супермаркете бывшую жену, обменялись натянуто фразами, в присутствии сына, что было самое неприятное), когда он открыл, как обычно перед сном, последний альбом, его охватило беспокойство. Ему вдруг представилось, будто это фрагменты чьей-то чужой жизни. Его пальцы глядят железнодорожный билет *Wien – Krems an der Donau* (двое суток – 22 и 23 апреля 2009: Sonic Youth, Butthole Surfers – жил в провинциальной гостинице, обедал в потертом ресторанчике, в уборной на стенах были эротические фотокарточки, в рамочках, черно-белые, начала двадцатого века – сплошь толстушки в шапочках с перьями и мебель на картинках та же, что и в ресторанчике), но в том поезде вместо него ехал кто-то другой, кто-то, кто никогда не был женат, не имел родителей, не жил в СССР; или взять этот билет на самолет, в котором был облит горячим чаем (прелестная мулатка, так извинялась; ну ведь пустяки, из ее точеных рук – хоть кислота), потом носил этот пластырь семь дней («7 мая 2010 года, Morrissey»), – но почему-то ему казалось, что и билет на самолет и пластырь принадлежали не ему; эти веревочные и бумажные браслеты охватывали запястье как две капли воды на него похожего *голема*, который существовал в чьем-то безумном воображении, вдохнувшем в образ Боголепова чуждый ему *esprit*. Сердце Павла замирало, и он спрашивал себя: «Так кто из этих двоих я – тот, что на фотографии, или тот, что на нее смотрит?» Он спрятал альбомы и запретил себе к ним прикасаться. Думал некоторое время переждать. Беспокойство не проходило. Альбомы не давали спать. Хотел их выкинуть, но тут ему в голову пришла безумная идея: в одно из воскресений мать попросила его посидеть с отцом, он согласился, в большой сумке под ворохом белья для стирки контрабандой принес с собой спрятанные альбомы, и как только она ушла, он, не

обращая внимания на отца, поставил альбомы, на их прежнее место, а Стриндберга спрятал обратно в комод. Беспокойство улетучилось.

Дождь. Ноги промокли. Не чувствуя холода. Ему даже казалось, что вокруг него пар – так горел от радости. В мыслях взвешивал возможные рейсы в Лондон, знал дешевые и при этом приличные гостиницы наперечет. Но решил, что обязательно пройдет по сайтам вновь. Взвесит варианты. Прикинет цены. Посмотрит фотографии. Представит себя вместе с ними в самолете, в каждом отеле. Осенью в Kensington Gardens. На Kings Avenue зимой. Regent's park... Edgware Road, Edgware Road... можно идти бесконечно... Помимо этой мечты, есть замысел. Паутина! И вдруг позвонила пиявка: *Отец умирает! В этот раз совершенно наверняка!*

Мгновенно действующий яд. Воображение скрючилось покойником. Убогость не дает скрыться. – Черт, как я уязвим! Как доступен! – Только ускользнул с похоронных посиделок, хлебнул радости, как вновь настигла серость.

Во-вторых – я сказал, не трогайте меня, – *ayahuasca*. Она сегодня упомянула в фейсбуке церемонию (*the ceremony of my dream*), кинула ссылку дурочке, которая не знала, что это такое (понимать с полуслова – вот что ценю, а тех, кто не в теме, в отсев!). Необходимо будет задействовать и Pinterest, English, baby! Flickr, Orkut... Мои аватары будут иностранцами, эти сети среди них популярны. Тонкие взаимосвязи. Нельзя идти напролом. Все в одну дверь. С какой стати? Howdy? Она не дурочка. Семнадцать лет. Подозрительность. Сетевые констебли. О господи! О чем я? Это же шедевр! Как я трясусь! Насквозь прозрачен. Изыщно. Чем тоньше, тем лучше. Отследить будет невозможно. Да, невозможно. И... Было что-то еще. Третье... Какой стыд! Иногда мне кажется, что весь мир слышит и знает. Как меня обдало в лифте. До сих пор трясет (или заболеваю?). Мой внутренний дикарь испугался. Пещера налилась страхом. Зачем краснеть? Куда бы спрятаться? Так-так, Красная сумка. Она была вообще-то не красная. Просто так ее называла мать. А если б, допустим, она не была их дочкой? Это что-нибудь изменило бы? Если б я не знал ее родителей? Какая разница. В этом дело или не. Я продолжаю думать о ней. Я думаю о ней, даже когда не думаю. Сумка. Сумка. Она лежала в шкафу. Под чемоданом, на котором стояла упакованная швейная машинка, которой мать давно не пользовалась. Не оглядывайся. Никто не смотрит. Никто тебя не знает. Одни иностранцы. И тех сейчас унесет автобус. Это не мой. Каждый раз, когда мы отправлялись на дачу, она просила отца... Она сказала, что он умирает. В этот раз на самом деле, нет никакого сомнения, это конец, конец... Сколько раз мы это слышали: *это конец, на самом деле умирает...* Он так давно умирает, что давно уже сдох. *Good bye, Lenin!* Да! На самом деле ничего этого нет. Не существует. Мираж. Пародия. Плагиат. Галлюцинация. Миазмы. Газ. Мы все просто газ, мама, и папа, которому уже девяносто два года, тоже не существует. Это противоестественно – жить так долго. Его и не было никогда. Нам всем привиделось, что у меня был отец. Своим абсурдным существованием он опровергает любое самое убедительное доказательство реальности нашего мира. Потому что он износил мои представления о материи. По одной причине. Просто&напросто! Так долго ебать мозги нельзя. Они начинают лопаться. И мир вместе с ними, понимаешь! Господи, но зачем же тревожить брата! Если отец не мог по какой-либо причине снять швейную машинку – немецкая, старинной работы, чугунного литья (любил я ее без меры, все мое детство в ней, любимая игрушка), оттого возникали некоторые сложности, особенно с годами, когда ревматизм, подагра и боли в предстательной железе одолели отца, превратив его в сморщенного жалкого гнома, любые ничтожные неудобства – наклониться за газетой или перчаткой – вырастали до размеров вселенского потопа, а так как нашему путешествию на дачу неизменно сопутствовали всяческие неудобства, мнившиеся и всамделишные, то для отца оно становилось библейским исходом или странствием в ковчеге, так что ближе к середине вомидесятых мать его уже и не тревожила, а прямоком обращалась к брату, а если того не оказывалось поблизости (исчезал как Гудини, а в девяносто третьем аж на три года – и хоть бы намекнул: заставил всех похо-

ронить себя, скотина!), со швейным гробом и чемоданом, на котором стояла машинка, приходилось бороться мне, – все эти пертурбации, чреватые членовредительством, возникали по причине того, что под машинкой и чемоданом мать прятала Красную сумку, бесценный ларчик наших нетленных душ, на дачу мать ее всегда с собой брала, потому что в ней, изношенной и неприглядной, хранилось *самое-самое* главное: сберкнижки, паспорта, свидетельства о рождении и прочие и прочие бумаги, без которых наши жизни не представляли никакой ценности и с похищением которых мы, конечно, перестали бы существовать, как бывает в таких случаях: первыми исчезают волосы, затем блекнут глаза, сползают ногти, за ними пальцы, уши – коротко говоря, мы бы прошли все те стадии деидентификации и дематериализации, которым подвергались в старинных голливудских ужастиках вампиры, да, да, по праву; то же случилось бы и с нами, потому как мы были самым типичным семейством советских вурдалаков, наименее полезных кровососов, лентяев, дармоедов (*vene okkupandid raisk!*), нас бы сразу утопить, в ведро, как котят; но нет, о нас позаботились, нам выдали документы, отца даже не расстреляли, когда он, дебил, в сорок шестом вернулся из Парижа, *вопреки воле родительской*, и в девяносто первом эстонцы нас пощадили, не спустили с говном в унитаз, синие паспорта выдали, по матери, предки которой тут жили со времен Александра III (согласно программе обрусения окраин семейка мелких лавочников с небольшими подъемными была заслана сперва в Финляндию, а затем «Ананас» самодержавия закинул их в Курляндию, где и пустили корни).

Ну вот, всех смыло. Никто не подглядывает. Но как-то не легче. От перетасовки масс. Мать постоянно скулит: ну вот, разгладится, и все наладится... вот солнышко выглянет... Солнышко выглянет, и что? Ничего не изменится. Никогда. Это как трясти пустую копилку. Таков мир. Он без усталости будет работать. Его ничто не остановит. Он будет намыливать облаками небо. Надувать ветром зонтики. Наполнять словесами газеты. Гнать белый шум. Многомиллионные армии журналистов будут жужжать, как трутни. О, мегасуперпуперскоростной интернет. Что там Уренгой – Помары – Ужгород! Жалкая насмешка. Фантастическое количество информации, которое в единицу времени перегоняют бездушные машины сквозь мое сознание, ни за что не сравнится с миллиардами обогретых или не обогретых тел. Рядом с этим иллюзорным потоком ты меньше, чем ничто. Даже нейтринно есть. О нем известно. Есть экзотическая масса и темная материя, а тебя нет. О тебе нечего сказать. Тебе нечем противостоять. Ничего, кроме Красной сумки, ты этому потоку предложить не можешь. Вот поэтому. Вот поэтому. Продолжать. И. На самом деле. Да, на самом деле она была синяя, только хлястик и язычок были красными, и даже не красными, а красноватыми, язычок был даже желтый, и не кожаный, как и вся сумка, по сути, из дрянного кожзаменителя, зато с очень важной потерянной эмалированной кнопкой и замочком, ключ от которого мать носила вместе с крестиком на серебряной цепочке.

2

Утро.

Кого ты ищешь в этой комнате?

Раннее черствое утро.

L'air est puant, le ciel implacable⁸.

Чье это тело?

Птица? Собака? Человек? Скот?

Одно дыхание у всех.

Кто?

Dans ce lit fleurdelisé se transforme en tombeau⁹.

Oh.

Руки-ноги набекрень, как собака. Приоткрыв один глаз, как птица.

Embryo in utero.

*Sleep, sleep! – the world doesn't exist yet*¹⁰. Он ронял голову, как девочка – мячик. Поклонялся и Симу и Реглу. Плыл, покачиваясь, как буй: то сон, то явь. Крик за ним летел, как ветер, вращая полоски: красная, белая, синяя; и обратно: синяя, черная, белая...

Перевернуться. Нет сил.

В троллейбусе, я кричал на людей в троллейбусе:

Ma femme est morte, je suis libre!¹¹

Строка выворачивалась из своей кожиры в стеклянной будке прямо на скамейку, кто угодно мог видеть.

Свесившись у края могилы, упирался рукою в рассвет. Руки грязные. Капли крови блевотины вина моря смертельной усталости на рукаве рубашки. Рубцы. Ноги болят. Ходил. Много ходил. Ботинки. Возвращался босиком. Вчера...

Je me suis couché sur la terre et je dormais comme un chien!¹²

Бумажные ирисы и гиацинты.

Где видел? На зонтике? В цветочном? На машине? В окошке?

Заплатки памяти. Опечатки похмелья. Wasawis¹³. Холодно. Осень.

Кажется, встретил кого-то.

О чем говорили? Наболтал глупостей? Обругал? Оскорбил?

Неважно. Звонил. Кому-то звонил.

Физиологический раствор для ребенка. Сколько лет? Скоро пять. Произнес четко. Помню! Аптека. Все шарахались. Грязный как собака. Блевотина на рукаве. Где-то валялся. В шиповнике. У моря.

Лучше не думать.

*Sleep, sleep! Pretend, if you can't*¹⁴.

⁸ Воздух вонюч, небо безжалостно (*фр.*) – парафраз из поэмы Ш. Бодлера «Хмель убийцы».

⁹ Моя постель в гербах цветет, как холм могильный (Ш. Бодлер. Сплин. Перевод Эллиса).

¹⁰ Спи, спи! – мир пока не существует (*англ.*).

¹¹ Моя жена мертва, я – свободен! (*фр.*) – «Хмель убийцы» Ш. Бодлер.

¹² Я укладывался на землю и спал как собака! (*фр.*)

¹³ Сомнения, шепот Сатаны, демоны (*араб.*).

¹⁴ Спи, спи! Притворись, если не можешь (*англ.*).

Ирисы. Цветы похмелья. Всюду они. На каждом балконе. На каждой могиле. Каждый год случается такой день. Словно умираешь.

Я выливал вино на камни.

Он помнил, как выливал вино. На камни. Ел хлеб. Гули! Гули! Гули! Над ним хохотали чайки. Было смешно. Он смеялся. Оплеван морской водой. Облеплен тиной. Вылил вино. Что-то сообразил вылить. Не все выпил. Угощал. Мальчишки эстонцы, как галчата, сидели на камнях и слушали, глядя на него снизу вверх. Он устроил спектакль. Они курили, слушали, перемигивались. Чокнутый русский поэт читал...

Sans cesse à mes côtés s'agite le Démon; Il nage autour de moi comme un air impalpable¹⁵.

Решил пить у моря. Авось похмелье будет не таким страшным. Это он подумал спяну. *Это напештал демон*, и засмеялся. Собака залаяла. Дьявольский смех мой ее напугал. Он прыгал по камням с бутылкой и кричал: Это дух вина! Дух пьянства! Дух буйства! Цветок зла! Ла-ла-ла! Он кричал и махал руками. Кому знаки подавая? Высовывал язык. Кричал во всю глотку:

Ma femme est morte, je suis libre!

Собака подбежала и прыгала рядом. Заливалась. Он прыгал по камням и хохотал. Лил на собаку вино.

Пей! Пей, шакал! Пей, псина!

Он был жутко пьян. Руки пахнут рыбой.

Он пил один. Читал Бодлера и Эдгара По.

Семенов?

Кто-то окликнул.

Кто это был? Не помню. Помню, стихи читал.

Плохо, когда знаешь наизусть много стихов. Можешь читать бесконечно. Это сводит с ума. Всегда заканчивается плохо. Поэзия съедает мозг. Как во время голодания, организм поедает себя. Глист поэзии сосет мои соки. Сходишь с ума тогда, когда начинаешь думать в стихах. Когда говоришь, будто укачивая младенца внутри себя. Никто не замечает. Никто не поможет. Как Рагин, ты и не хочешь, чтоб помогли. Вышить на спине № 6.

Ты читаешь стихи, не можешь остановиться.

Плохо, когда запоминаются именно такие. Мрачные. Холодные. С запахом гнили и сырости. С привидениями. С заспиртованными трупиками в колбах. Туго свинченные.

Ходил, как по палате, туда-сюда, туда-сюда, и читал, точно вызывая духов. Галька под ногами ворчала, недовольная.

Издали завидев Семенова, люди отворачивались и уходили.

Все тебя знают, поэт. Никто не хочет тебя видеть.

Теперь он лежал ни жив ни мертв, сквозь веки ощущая, как линяет ночь, слушал, как воеет ветер, колеблет занавеску, бросает ветки на стекло, и все внутри Семенова вздрагивало, как на ухабистой дороге.

Холод и гололед. Крик чаек. Лай. Осколки вчерашнего.

Я выкинул блокнот! Три месяца записей. Выкинул. Помню, как швырнул, и сам испугался. А потом гоготал над собой: Что, жалко стало? Трепещи, стихоплет!

Поэт выкинул блокнот, чтобы сюда не возвращаться. И бил бутылки... Поэт. Об эти камни головой: умри, поэт!

Вчера он пытался от себя избавиться.

¹⁵ Мой демон близ меня – повсюду, ночью, днем. Неосязаемый, как воздух, недоступный – (*фр.*) – из поэмы Ш. Бодлера «Разрушение» (пер. В. Левика).

Где он был вчера? Там, куда проваливаешься во время кошмара. Только в бреду туда попадаешь.

Он рыскал по улицам как одержимый. Город превратился в бесконечную фреску. Век идти – не обойти!

Он ел пиццу в Americana. На него смотрели незнакомые люди. Туристы из России. Он ел пиццу, отрезая подгорелую корку. Аккуратно срезал. Неторопливо. Серьезно. Со стороны был похож на баклана. Длинный нос. Лысина и хохолок. Он носил укороченный плащ. Он снял его и повесил на соседний стул. Чтобы не подсели. В пиццериях почему-то подсаживаются. В кафе – нет, а в пиццериях – да. Как в столовой. Он был в легком свитере. Старался ни на кого не смотреть. В тарелке набралась горочка горелых обрезков. Люди из России смотрели на него. Он это чувствовал. Краем глаза он видел, как они поворачиваются. Они скучали. Ждали свой заказ и пили пиво. Шептались и посмеивались. Наконец, полагая, что он не поймет, женщина сказала мужикам: что вы смеетесь, настоящий эстонец, аккуратист, все эстонцы вежливые и культурные, не то что вы... И они начали игриво на нее дуться. Бизнесмены. Хамоватые карликовые магнаты. Только-только из скорлупы нос высунули – и сразу надо над кем-нибудь посмеяться. Подвернулся он. Приняли за эстонца. Любой местный ни за что не перепутал бы Семенова с эстонцем. Эти перепутали.

Долго не мог выкинуть из головы. Озирался. Почему они на меня пялились? Прятался в подворотнях. Пил тайком из обернутой в газету бутылки. Вспоминал их и гневался. Откуда в человеке берется эта наглость? Когда человек начинает смотреть на других с таким превосходством, с какой минуты? Что там внутри произойти должно, чтобы так на других смотреть?

Надо было идти в другое место. Говорят, лучшая пицца где-то в Пярну. На Вооримехе была хорошая. В подвальчике под сапожком. Воняло туалетом и еще чем-то. Но пицца была что надо. Теперь модно жрать суши. И пить саке. Когда-то было модно наголо и с бородой ниже кадыка. Теперь финские хэви-металлисты так ходят.

Он покупал дешевое вино, и на него смотрели.

В аптеке – физиологический раствор. Во внутреннем кармане – бутылка вина. Тяжесть. Стыд. Люди смотрели и понимали, что у него под плащом. *Семенов*, узнавали его. Глаза *Семенова* сверкали. Узанный старался говорить правильно и ровно. Физиологический раствор. У ребенка насморк. Его слушали. На него смотрели. *Семенов*. В его голове плясал смех. Не русский, эстонец. И что с того? Даже если эстонец! Что этот маленький торгаш о себе воображает? Нацепил на ухо hands free и теперь может похихикивать, вытянул ноги и улыбается...

Всюду чувствовал взгляды. Они облепили его, как лиственная тень на спине. Снял и повесил плащ на ветку. Полегчало?

Нет.

Море тоже смотрит и вздыхает.

Уста-алостъ, шепчет море. *Уста-алостъ*... Чувствуешь, какая в море усталость?! А небо... Ох!

В те годы был в моде экзистенциализм.

*La Nausée. La noia*¹⁶. Это мое время. *The Time of AirConditioned Nightmare*¹⁷. Я в нем как рыба в воде. У меня все есть. До конца жизни хватит. Никуда вылезать не собираюсь. «Черную книгу» до сих пор не перевели. Анаис Нин только начали. XX век еще не кончился, не торопитесь хоронить. Совпис тоже не сдается, переобулся, переделся и бравой походкой – кто в постмодерн, кто в новый реализм. Удачи! Остаюсь в прошлом. До наступления истеричных девяностых. Мне не нужен катарсис миллениума. Я тут как в колбе формалина. Что у нас

¹⁶ *Toшнота* (фр.). *Скука* (ит.).

¹⁷ Время аэрокондиционированного кошмара (англ.) – от названия документального романа Генри Миллера *The Air-Conditioned Nightmare* (переведен на русский как «Аэрокондиционированный кошмар»).

там? Кротовьи норы. Текстуры и фукоиды. Кто-то пишет биопики, а кто-то в историю мировой литературы въезжает верхом на маньяке, как Вакула на черте. Скучно. Тебе скучно? А деньги? Как же деньги? Твоя жена берет кредит – у тех же чертей-маньяков. А ты... Думай, как отдавать будешь!

Твои сказки читают детям, пьесу ставили в театре, все смеялись: смешная пьеса, пустая, но смешная, должны быть и такие пьески. Критик-дурак пишет, критикесса-идиотка хохочет: и никто толком сказать не может, сколько псевдонимов породил наш Семенов, сколько фантастических романов написал, подрабатывая литературным рабом. Мой подвал в Ласна! Тут пашет раб, фантастические романы под псевдонимами для всяких серий. Смейтесь! Псевдонимы, и те не мои. Даже тут себе не хозяин. Раздаю себя по кусочкам. Меня шинкуют, как капусту. Отдаю все великие замыслы под нож. Как телят. Great Upgrade за двадцать тысяч рублей. Кошачьи слезы! Смейтесь! Твоя жена взяла в банке кредит и у бандитов. Двадцать тысяч евро, Семенов! Очнись! А ты плачешь о каком-то романе. Прокормить семью... Тут голову спасать надо... Нашинкуют – и тебя, и жену. Эти люди не вымерли в девяностые – они затаились, как вирус. Придут и все отнимут. Подпишешь любые бумаги. Квартира уйдет. Будете жить на улице. Ты и твоя семья, понял! стыдно ему имя марасть.

Great Upgrade.

Головная боль.

Great Upgrade.

Ты быстро сдался.

Я боролся.

Нет, ты сдался.

А потом рвал волосы, посыпал голову пеплом: mea culpa, mea culpa...

Я сделал все возможное чтоб.

Семенов пытался добиться самостоятельного издания. Но московский редактор склонил его уступить права на манускрипт. Были доводы, редактор говорил тоном уверенного бизнесмена, в терминах, какие используют всамделишные бизнесмены, когда предлагают хозяйчику какого-нибудь маленького предприятия продать дело за неплохие отступные (говорили по скайпу). Семенов сломался: лучше синица в руках. Рукопись ловко разобрали на части. (Видимо, у них уже был замысел, в который мой роман вписывался.) Семенов как никогда хотел посмотреть, что получилось «на выходе». Заказал книгу из Петербурга через магазин «Alfa-Beta raamatupood» нарвских русских, которые книги продавали, расхваливая их как бытовую технику. Семенов не раз это слышал. Твердый переплет, яркая обложка. стыдно войти в такой магазин... Публичный дом какой-то, а не книжный! Долго ждал. Заказывал мучительно. Сердце колотилось, во рту сухо. Название книги: «Билет в Дистопиус». – Как-как? – Пришлось повторить... Автор: Владислав Дорин. Издательство: «Гидра». Получилось дороже, чем думал, – двенадцать евро. Ждал две недели. А потом еще неделю ноги не шли. Подвергать себя пытке не торопился. Только после того, как ему позвонили: ну, так вы заберете свою книгу или нет? – Да-да, извините... – Прочитал за ночь. Выкурил две пачки сигарет! Как и предыдущие, книжку выкинул поутру (обветшала, как за год) – не в бешенстве, как было раньше, а в странной задумчивости (в пуповине теснилось чувство вины, чем-то схожее с наплывами подросткового стыда): он клялся, что больше так не поступит. Стараясь читать посторонним глазом, он снисходительно бормотал: ладно склеили... ну, накрутили!.. а как умело взвинтили темп, шельмы!.. а интрига-то недурна! Не без тщеславия отметил, что вошли его собственные, как никогда большие куски описаний, некоторые диалоги и названия, был сохранен даже главный герой, почти целиком, но на вторых ролях: его герой – отец небольшого семейства – пытается добиться «билета» в лучшее будущее для своего младшего сына-гения, в котором чаёт большие изменения для всего человечества (моя надежда... мой маленький ангел...), принося в жертву не только собственную жизнь, но и всех остальных членов

семьи – разумеется, такой персонаж (впрочем, как и сюжет) не мог потянуть действие киберпанковского триллера, поэтому по уходящему в зону отбросов городу с «глушителем мыслей» в поисках заветного лифта в лучший мир бегал молодой мускулистый папаша, который время от времени зализывал раны у старика-аптекаря – все, что осталось от главного героя Семенова. Как всегда, в каждом узнаваемом фрагменте чувствовалось еще чье-то присутствие, как бывает после болезни, – слегка кажешься себе чужим. Успокаивала мысль, что не только его рукопись вывернули и вытряхнули, чтобы склеить этакое; по крайней мере, еще два «негра» отдали на растерзание свои рукописи, – и все это кроили-штопали маркет-технологи от литературы, у которых ничего святого, кроме продаж, за душой нет. Книга вышла в серии футурологических триллеров дистопического проекта «Квадроматик». Семенов следил за тем, как был принят роман и что о нем говорил «автор» – молодой фантаст 1977 года рождения, отец двойняшек, хозяин королевского дога, заядлый охотник на глухарей, в прошлом – кандидат в мастера спорта по стрельбе из лука, альпинист-аматер, буддист-вегетарианец, окончил социологический факультет МГУ заочно, живет в Подмоскowie в скромном деревянном доме, работает журналистом, на всех фотографиях он был в водолажке и темных очках, очень часто в дождевике, высоких черных сапогах и шляпе с полями, с ружьем и собакой, – все это не имело значения, скорее всего, человек на фотографиях был тоже подставной. Наверное, интервью писали какие-нибудь «составители проекта». Вся Российская Федерация – это проекты, которые движутся, как поезда, в бюрократическом виртуальном пространстве, растворяются, сливаются, сталкиваются, идут на распил и лом. Но мой Great Upgrade был о другом. Не о России, на которую, чувствовалось, намекали шиватели «Дистопиуса» (инерция, сохранившаяся с советских времен). Мой роман не был проектом. (Но он стал частью проекта – ты сам его продал!) Это был роман, который я вынашивал три года. Я засыпал и просыпался с ним. Он был со мной в автобусах и трамваях. Я с ним искал, находил и терял работы. Роман жил во мне, а я – в нем.

И ты его предал; предал чувство покоя, которое дарил тебе твой вымысел; предал тот странный мир, в котором ты, несмотря на его беспощадность, чувствовал себя уверенно и свободно, и который – признайся! – был намного реальней, чем этот. Кому расскажешь? На каком суде? Кто спросит? Всем плевать.

Он читал стихи. Мочился в море за камнями. Над ним смеялись чайки. Там была женщина с ребенком. Она фотографировала паром. Звонила кому-то. Наверное, кому-то, кто был на пароме. Что-то говорила ребенку, показывая на паром.

Там твой папа, наверное. Говорила так, как женщины обычно говорят с детьми: там – твой – папа.

Женщина – сеть, сердце – зверек, руки – оковы.

Что могла она ему говорить? *Папа поехал, наверное, видишь, там папа.* В Финляндию на заработки. Сейчас все ездят. И мне так надо. Куда-нибудь ехать. На заработки. Два дня дома, месяц за границей. Одна нога тут, другая там. Все сделались челноками. Тут семья, там семья. Даже Антон, и тот куда-то уже съездил. Работал на заправке, где и Ступин работал. Ступин говорил, что у него сам Рюитель запраплялся. «Audi A8». Бензин Аи-95. Ступин сам наливал, базарил с телохранителем и водилой. Президента в машине не было. А может, и был, стекла тонированные. Как знать, может, был? Трепло. Антон на том же StatOil'e работал в прошлом году. До сих пор вспоминают, как Рюитель у них запраплялся. Дураки, еще лет десять об этом вспоминать будут. Все друг друга знают. Антон напортачил, и его уволили. Сегодня уволили, лет через двадцать пожалеют. Дали под зад. Он им еще покажет. Будет хозяином всех колонок и паромов, мечтатель. Чем он ей нравится? Я знаю, Аэлита, он тебе нравится. Я ее понимаю. Парень что надо. Мир повидал, себя показал. В Англии собирал клубнику; в Ирландии – шампиньоны. Лихач. Мотоциклист. Футболист. Завсегдатай ночных клубов. Казино, стриптиз. *Всяко. Это его всяко.*

О нем он тоже думал, когда пил. Ходил по магазинам и думал: вот где она сейчас шляется? В каком подъезде мир лапает мою дочь? Мою! Какое мне дело? Что я, как мусульманин?

Думал ли он когда-нибудь, что будет бродить в таком диком состоянии по городу, пытаясь вывернуться из себя. Избавиться! Чужие псевдонимы способствовали. Ведь он хотел все поправить. Залезть сквозь жерло своих фантастических романов (которые суть один большой тоннель) в генератор реальности и кое-что в нем переключить, чтобы дать возможность всем насладиться лицезрением чуда. Чуда! Которое от нас утаивают. Кто? Дизайнеры нашей убогой лечебницы. Незримые санитары. В этом лепрозории мы все равно несчастны. Деньги ничего не меняют. Есть они или нет. Все равно...

Так он думал, когда проходил мимо института. Забрел в тупик. Остановился возле кучки человеческого кала и долго смотрел. Дерьмо! В руках кусок плаката – сорвал по пути. Сам себя привел к этому дерьму. Стоял и бранился. Не мог куда-нибудь в другое место пойти? Надо было в дерьмо вляпаться! Теперь стой и смотри, раз пришел. Походил по дворику, потягивая вино. Успокоился. Вспомнил себя. Двадцать лет назад тут, в этом дворе, был хеппенинг. Разбитый «запор» облили красной краской, как кровью. Автор перформанса, тоже весь в краске, поджег покрышки и улегся на капот машины. На стене мелом: accident. Все это под страшную какофонию. Никто не вызвал ментов. Музыка играла минут тридцать. Он так лежал. Покрышки горели. Музыка кончилась. Художник поднялся. Ему помогли погрузить хлам. Уехали. Четко. Организовано. Красиво. А где-то через год Совок пошел на слом.

Больше чем двадцать.

1989. Зашел в магистратуру. Случайно.

Его звали Маяковский, человека, который устроил хеппенинг. Где он теперь? Высоченный эстонец, лысый, как кегельный шар. Он носил плащи и шлем, как у танкиста. Что-то рисовал и переводил с английского.

Вчера Семенов стоял на большом, очень большом камне и думал: в каждой квартире должен быть крюк, чтобы можно было повеситься. Emergency Exit. Если б так дома строили, он бы вчера. Непременно.

Кому-то на лестничной площадке он говорил, что надо держаться.

Ах да. Алкоголику сверху. *Я срываюсь раз в год*, говорил он тому.

Ссадина на ладони: ползал по полу. Ребенок смеялся.

Кроха, подумал он. Внутри сжалось.

Вчера он стоял во дворике на солнечной заплатке. Свежо. Зябко. Кутался в плащ. Бесплечий, бесполой. Призрак. Растворялся в ярком солнце. Курил и дыма не чувствовал. Холодный ветер. Бесплезное солнце. Сверлило солнце, выдавливая взгляд. Он смотрел в себя. Пил и смотрел в себя. Это так мучительно, знаешь, когда смотришь в себя, потому что солнце ест глаза, вдавливая взгляд. Он пил вино, один, в закутке, через дорогу театр. Это так мучительно, знаешь, пить одному, вино в закутке, когда на тебя смотрит театр, полный окон и воображаемых людей. Несколько лет назад в этом театре играли твою пьесу. Кто теперь вспомнит? Только смех. Замшевый смех. Позолота. Паркет. Зеркала, зеркала. Блестящая плешь культурного обозревателя. Артур Дмитрич – лакированные башмаки, одеколон, красные от бритвы щеки, перхоть на твидовых плечах (воротничок задрался, показывая войлочную изнанку). *Ничего-ничего*, похлопал по плечу (жалел или радовался?). *Первый блин – с кем не бывает*. И люди, люди чмокали в темноте, выказывая недовольство (знали: автор слышит), люди, которые громко вставали, не придерживая сидений кресел, уходили, не досмотрев (одна дама потряхивала головой в недоумении, недовольная чем-то, наверное: пятнадцать евро билет – за *такое!*). Твои переживания, поэт, – пустяки по сравнению с отчаянием Стриндберга в Париже. Еще на прошлой неделе в театре громоплескали, с ним пили шампанское артисты, министры, писатели, еще висят кое-где афиши, а его никто не узнает, все о нем забыли. Избавился от тюремщицы жены. Сжег себе руки серой во время алхимических опытов. Даже кальсоны застегнуть не мог. О

нем заботилась монахиня... монахиня Августина... В аптечной библиотеке при госпитале он читал книгу «Фосфор» – монахиня перелистывала страницы... Кто так позаботится о тебе? Кто будет перелистывать страницы какой книги? Весь мир тебя презирает, поэт. Весь мир – театр, наполненный недовольной публикой: хрюкающими щеголеватыми дельцами, властными капризными женщинами в ярких дорогих платьях, жестокими невежественными детишками, – таков мир, и он на тебя смотрит, сверлит, взвешивает, и ты не знаешь, куда себя деть. Ты как на суде, обвиняемый, и судит тебя весь мир.

Куда бы он ни шел, здание театра шло за ним по пятам. Где бы он ни останавливался, оно вставало неподалеку, наблюдая за ним своими окнами.

Сел в автобус и долго ездил, пока не отпустило.

Думал позвонить Яану. Слава богу, не позвонил. Отговорил себя: опять разговоры – образование и – утопические проекты... Как они могут об этом всерьез!

Кому-то звонил... Кому?

Так стыдно. Все это так стыдно. Чай. Бодлер. Запах гиацинтов.

Если однажды утром я проснусь в этой квартире один, я повешусь. Это не шальная мысль. Нет, это стон тела. Трепет намерения. Он всегда тут, как асфальт: куда ни пойдешь, всюду он под ногами. Стон.

А может, не мое? Может, wasawis?

Хочется куда-нибудь уйти. Так, чтоб не было ничего под ногами. Пустота. Идешь, а под ногами пусто. Воздух. Влажный, как роса. Пешком по росе. Куда? Да куда угодно! Хоть на Луну с Бержераком!

Держаться.

Он кому-то вчера. У магазина – Оливер. Похудел, у него вылезли зубы. Два больших вперед. Остальные выпали, а эти два вылезли и вперед смотрят, как бивни. Он стал похож на пасхального кролика. Он шепелявит теперь. Внукам читает мою книжку. *Таинственное путешествие Каспара Хаузера*. Читает и шепелявит. Мою книгу. О мальчике, который пробрался в Лунное Царство сквозь отверстие. Проскользнул по лучу лунного света. Он назвался Каспаром Хаузером, потому что страдал хромотой, у него было плоскостопие, с ним никто не дружил, потому что он сильно заикался. Его дразнили, и он придумал себе Царство Лунного Света, по которому он путешествовал. Все как всегда в детских сказках. Семенов прославился. *Сказочник*, называли его. Даже дочь – каких-нибудь три года назад! – говорила: «А мой папа – сказочник». Книжку перевели... Яану спасибо! И вот теперь: *Им всем понравилась твоя книга*. Как это все запоздало... Что делать, мир вертится со скоростью секундной стрелки – литературный обоз ползет, не поспевает. Аэлита выросла и все забыла. Почему они читают то, что я написал семь лет назад? Впрочем, книжки всегда читают. Ты тут шатаешься пьянь пьяню, а кто-то читает внукам твою сказку. Может, лет через триста тебя оценят.

Да-да... и стихи твои... и переводы...

Ты знаешь наизусть много стихов. И все они такие, знаешь, такие, что повеситься хочется.

Твоя дочь терпеть их не может.

Я знаю, знаю...

Твоя дочь терпеть не может, когда ты читаешь стихи.

Ну и правильно делает!

Каких-нибудь два года назад в планетарии Петербурга она, закинув голову, спрашивала: «А это?.. пап, а это какая звезда?.. а что такое плеяды?.. а пульсар?» Он объяснял. Москва, Александровский парк, *l'air était pur, le ciel admirable*¹⁸.

Интересно, а если б не запои, она бы...

Да нет, все равно. Рано или поздно, они все уходят. Все. И Кроха? Да, и он однажды.

¹⁸ Воздух был чист, небо очаровательно (*фр.*) – Ш. Бодлер «Хмель убийцы».

Вчера хотел позвонить Яану и пошутить: *Tere! Kaspar Hauser siin*¹⁹. Пил вино из бутылки и думал о нем (театр выглядывал из-за трубы деревянного дома). Человек взял и перевел твою сказку, а ты, что ты для него сделал? С днем рожденья ни разу не. Хотел набрать. Ах да, сказали, он уехал куда-то. В Берлин, кажется. Лекции читать по Сибелиусу. Человек знает свое дело, а ты, что ты такое? Говорят, он в депрессии. Отказывается от всяких работ. Ему предлагали занять должность. Доходное место. Любой позавидовал бы, а Яан отказался: смысла жизни не добавляет, а суеты – куда ее сбить? В том-то и дело. Да еще желудок. Нервы. Говорят, он попросился полежать в дурке. Ого! И он туда же. Все мы там побывали, и все мы там однажды встретимся. Можно не звонить. Увидимся на Палдискиманте, старик!

Депрессия у Яана началась несколько лет назад. Какой там! Все десять. Еще до бронзовой ночи он написал незамысловатую статейку о современном эстонском обществе (речь шла о провинциальном национализме), под которой на сайте газеты наутро с удивлением обнаружил более трехсот разъяренных комментаторов, обсасывавших его родословную, его самого и даже собаку, которая якобы гадит на газонах, а этот сноб-русифил ленится наклониться и дерьмо за ней убрать... С того дня Яан начал ощущать вокруг себя густевшую год от года пустоту, не вакуум, какой образуется вокруг пожилых одиноких людей, но напряженное молчание битком набитой комнаты, смущение отведенного взгляда, спрятанную в кармане руку (в форме кукиша, может быть, знай наших). Он в центре города зажил как на хуторе, который объезжали стороной, и – так какого черта?! – решил перебраться в родовое гнездо (в Эльва), где в конце девяностых, находясь в очень схожей депрессии, затворником умер его отец: Он *тоже был сильно разочарован*, говорил Яан. Да, тогда-то он и стал все чаще вздыхать над бокалом красного вина: *Я в Эстонии себя чувствую, как выброшенная на берег рыба*.

Встречались редко. Раз в месяц Яан приезжал, чтобы поесть московских плюшек в кафе Boulevard, выпить пару бокалов красного в Mauguse, собрать у себя дома друзей. Он говорил, что у него испортились отношения с сыном, который не знал, чем заняться, потому что поссорился со своей девушкой, от чего у него «пропало настроение», учиться не хочет, но думает удариться в политику (через журналистику), при этом делает вялые попытки вернуть свою подружку, даже собирался к ней поехать в Эфиопию – она работает там в Красном Кресте, безвылазно, но так и не решился... Нет, он там был разок, до того как они поссорились, съел что-то в баре, отравился и сразу уехал... После его отравления они перестали, как он сказал, понимать друг друга, у нас, говорит, разные взгляды на жизнь, что понятно, так как мой сын теперь... Мне об этом трудно говорить – сын все-таки, – ну, да ладно. Вот он недавно мне выдал, приезжал в Эльву навестить меня, пожил тут два дня и сбежал с воплями: «Как ты можешь жить без интернета? В этой деревне!», не понимает, я его на поезд проводил, и на перроне, уже перед самым поездом, он возмущенно говорит: «Что это за страна?!» – Я спрашиваю: «Какая страна?» – Он: «Эстония – какое это к черту европейское государство, если в нем есть такие политики, как Сависаар?!» – Черт возьми! Я чуть не вышел из себя. Ему двадцать три года. Раньше, когда он говорил что-то вроде *we'll never become Europeans, until they play in supermarkets lousy cover-versions of ABBA and Boney M*²⁰, – эту глупость я мог переварить. Но вот про центристов и иностранцев, про необходимость строить танковые заводы и – *показать кулак этим русским* – вот это я спрашиваю: откуда в нем? Конечно, наши долбаные СМИ – вот откуда. Я это знаю, а сдержаться не могу, голова кипит. Я говорю: «А каким ты видишь европейское государство?» Оказалось, что он ничего не понимает! Нет у него европейского государства в голове. Там «Кока-Кола Плаза» и супермаркеты. У него совершенно кабинетный взгляд на жизнь. Он хочет, чтобы Эстония превратилась в огромную кремниевую долину с

¹⁹ Здравствуй! Это Каспар Хаузер (эст.).

²⁰ *Мы не станем европейцами до тех пор, пока они в супермаркетах играют паршивые каверы шлягеров ABBA и Boney M (англ.).*

бесконечными эскалаторами, по которым люди будут переплывать из офиса в офис, питаюсь чуть ли не на ходу. Он прожил в Брюсселе два года – ничему не научился. Разве что научился с брезгливостью говорить *там много черных, там есть черные...* Он мечтает о дистиллированном белом мире, в его сознании растет та же самая Берлинская стена, только она отделит его воображаемый белый европейский мир и от путинской России, и от террористического фундаменталистского Востока. В результате он живет как в колбе! Откуда это в нем взялось? Я же с ним все время общался. Я знаю, что мои взгляды далеко не популярны в Эстонии: как только ты начинаешь критиковать власти и – еще хуже – эстонцев, ты становишься угрозой для общества, и, несмотря на то что я не путинист, все равно согласиться со мной значит сеять анархию и быть угрозой для свободной Эстонии. Я знаю, что это крах моей жизни, потому что у нашей страны нет будущего, мой сын тоже говорит, что у Эстонии нет будущего. Я переживаю это как крах моей собственной жизни. Это мое поражение, и я хотя бы знаю, откуда во мне осознание поражения. Он, естественно, за поражение страны винит политиков прошлого и СССР, но ничего не может объяснить: он не знает, почему он так считает, и не может сказать, откуда в его голове эти слова! И он принципиально не согласен со мной. Вот это самое смешное. Мы говорим одно, но не согласны друг с другом! Я постарался разобраться. Он же мой сын! Расспросил... Он не читал ни Бодрийяра, ни Фалаччи – нет, не читал, даже имен не слышал, что для него нормально, так как он вообще почти ничего не читает – фантастика, триллеры, Стиг Ларссон, будь он проклят. Я все больше и больше понимаю моего отца. Он был сильно разочарован в Эстонии в конце девяностых, когда потерял работу, когда появились лозунги *Эстония для эстонцев*. Как раз после самоубийства Юхана отец мой и перебрался на хутор. Он говорил, что все это повернулось куда-то не туда. Ему было неприятно, что я вместо творчества занимаюсь бюрократией. Он хотел, чтобы я писал и переводил. Он видел во мне писателя, которого я в себе не обнаруживал и – не обнаруживаю по сей день. Он видел во мне потенциал, которого у меня, наверно, нет. В те дни я еще думал: взяться бы и написать... В те годы я мог захватиться: напишу роман! Но была семья, маленький сын, он только родился, ровесник революции, надо было вкалывать, писать диссертацию, пользоваться случаем, выхода в моем положении не было. Я не мог все бросить и посвятить себя только творчеству. Я тогда не был в таком отчаянии, как теперь, чтобы писать. Потому что чтобы писать, необходимо киркегорово отчаяние. Если его нет, нечего и браться. И правильно я сделал, что не взялся. Я не писать хотел, а мир хотел объехать, во мне было любопытство к жизни. А в отце оно к тому времени угасло. И это его тоже сильно омрачало. Мы немного ссорились, спорили. Я был оптимистом. Мне не казалось, что все так уж мрачно. Мне виделись новые пути, начинания. А он трезвее был, он видел, что грядет, сегодняшний день видел. Ему было жаль, что человек, если был маленьким, то стал еще меньше, а тот, что был большим, сделался еще больше; он был недоволен тем, что такие люди, как я, например, попали в безвыходное положение и должны, что называется, крутиться, а порой – выкручиваться. Ролью моей был недоволен. Понимаешь, он думал, что такие люди – интеллигентные, образованные – могут играть куда большую роль в обществе, могли бы иметь куда более определяющее в обществе положение. Дело ведь не только в твоём голосе. Когда я иду голосовать – я не знаю, за кого отдавать мой голос! Нет такой партии. И он говорил те же слова. Недоволен, конечно, был и тем, что закрыли его обсерваторию. Продукты стали не те. Иностранцы в основном, а свои куда-то пропали, да и на вкус стали чужими. Ему пришлось выйти на пенсию раньше, чем он того хотел. Он все говорил: «Так много не сделал... Хотелось бы поработать на благо страны наконец-то на благо Эстонии, а не ЭССР...» Но пришлось уйти, в нем, как оказалось, Эстония не нуждалась, как и во многих, во многих... В общем, мой отец стал пессимистом под конец жизни, и я делаюсь точно таким же. Вот и теперь, в период кризиса, я вижу: что-то не то нам говорят с экрана. Что это за премьер-министр, если он мне говорит, что он бы вечно хотел жить при таком кризисе! Что это за слова такие: если это кризис, то он счастлив! Это слова человека, который не знает своей

страны и не видит, что с людьми делает этот самый кризис, не видит, как мрут люди от голода, как превращается народ его страны в обычных нищих. А он всем доволен. Ничего себе! И совсем другие вещи я слышу в кулуарах. Молодежь думает о другом. Не такие, как мой сын. Есть другие люди. Очень многие мои коллеги (в том числе в Германии) говорят, что надо коммунизму дать *second chance*, представляешь? До чего мы дожили! Я-то не об этом мечтаю... Не о коммунизме, но о прогрессивной эволюции общества. А что получаем вместо этого? Кастрацию системы образования. Такое впечатление, будто нашими политиками управляют какие-то злые силы, которые мечтают поскорее нашу страну превратить в звероферму. А ведь это так просто сделать! Начинать со школы: посадите тридцать человек в класс и платите учителю гроши – через десять лет у вас по стране будут бегать сотни тысяч новых хамов, будут рыгать в автобусах, с хохотом мочиться с моста на машины – обычная люмпенизация, вот что это!

Семенов слушал и думал: а что можно сделать?.. Что он хочет изменить – и как?.. Ян говорил об А., затем о каком-то молодом эстонском писателе по имени Рауль Пост. Дал Семенову книгу Поста, какие-то манифесты... юношеские восклицания... Впрочем, А. на него тоже не производил впечатления, А. не повзрослел. Мечтатель он, этот А., мечтатель.

Собаки ты пятая нога! Стоишь тут, в закутке, глушишь втихаря дешевое вино, хандрить и горько насмехаешься. Они хоть что-то делают... Ты смирился... сдался...

Давно ли ты, не-автор фантастических романов, перестал мечтать? Потухшим взглядом ты наблюдаешь судороги в телах, лежащих по соседству.

Разве не о том же был твой последний роман? *Great Upgrade*. Где он теперь? Ты продал его на органы. И как ты смеешь после этого? Как смеешь дышать?

Вспомнил, как Ян рассказал о своем перелете из Америки. *Я забыл целые сутки*. Нет, Ян сказал: *потерял* сутки. Его ничем не удивишь. Боинг-666. Ту-танхамон-134.

Собаки пятая нога стоял и пил вино. Потом шлялся, искал кого-нибудь. Встретил Марта – появился из ниоткуда. Под курткой футболка: *Õlle jumal ei tea rohhmelli*. *Кошка на голове*, сказал Март и поморщился. *Это идиома, наверное*, подумал Семенов.

– Может, покурим? – предложил Март.

– Траву?

– Да.

– Нет, спасибо, давно перестал.

– А что так?

– Паника.

– А-а, понимаю. *Bad trips*.

– Да. Может, выпьешь вина?

– Не, уже год пью... Сколько можно, курат? Надо бросать! Буду курить...

Я стар для всей этой мути. Стар для травы и трипов, для гигов и панковских посиделок. Я не глотаю экстази и не танцую с молоденькими чувихами под *Space Buddha*. Я не медитирую под *psybient*. Не читаю стихи в кабаре-баре *Coca-inn*. Не занимаюсь тантрическим сексом. Не читаю Пелевина. Не смотрю *Game of Thrones*. Меня нет в контакте и фейсбуке. Я отстал и догонять не собираюсь. Тихо старею, осмысляя необратимость жизни; переживаю собственную старость как трагедию, как неприличную болезнь, от которой нельзя излечиться. Когда-то было модно подцепить триппер. Когда-то я мечтал поскорей поседеть. А вот облетел, как тополь, ссутился и сам себе поперек горла.

Вчера он искал Антона, который не-влюблен в его дочь. Антон околачивался в подъезде. Если б он был влюблен в мою дочь... Я ему сказал... Да, он сказал Антону, что если ты не любишь мою дочь, а играешь с ней, ведь я знаю, как это бывает, сам таким был, только знай, я могу и убить...

Он так сказал. Антон пятился и улыбался. Парнишка понимал, что сказочник был сильно пьян. Так пьян, как только с ним случается. Все знают. Все. Он не просто так говорил. Я не

просто так ему это сказал. Я не просто так тебе это говорю. Жена. Его втянула в квартиру жена. Дочь закрылась в своей комнате.

– Она плакала?

Она плакала.

– Черт. Она меня ненавидит.

– Она сейчас всех ненавидит. У нее возраст.

– Да, но от этого не легче.

– Легче уже не будет.

Да, легче уже не будет никогда. С возрастом ты либо понимаешь, что вокруг сплошной мрак и идиотизм, либо становишься идиотом, который верит, что можно купить место под солнцем. Как Боголепов – покупает лотерейные билеты, верит, что может выиграть себе счастье в лотерею.

Он ползал по полу и ел руками искусственную икру.

Мерзость.

Зоя сказала *мерзость*, последнее человеческое слово в ее лексиконе, дальше стоит непроносимый мат, одними губами, придушенно.

Она ругалась?

Да, ругалась:

– Зачем ты принес эту мерзость? Ты же знаешь, это есть нельзя. Почему надо напиться и жрать гадость? Будешь погибаться из-за язвы, а мне за лекарствами бегать. И так все из рук валится, этот еще... Аэлита с катушек съехала, малыш болеет, кредит взяли, аренду заплатили, надо кабинеты приводить в порядок, рекламу делать, учеников зазывать, а ты пьяный по полу ползаешь, в больницу слечь хочешь?!

Его рвало. Оправдывался.

– Я срываюсь раз в год! Я сорвался!

– Что это меняет? Сорвался он. Ему можно. А мне? Я, может, тоже хочу...

– Антон тебе не дает покоя.

Она ударила его. Он упал.

Он это объяснял алкоголику сверху. Я упал. Разбил лицо и не почувствовал. Я жене сказал, что она с молодым заигрывает. Я пошутил. А она меня толкнула. Я упал и не обиделся. Рассмеялся.

– Бывает, – отвечал одеколон. – С кем не бывает? Бывает. С тобой не так часто. Я каждый день падаю.

– Я раз в год срываюсь, – повторял сказочник. – Раз в год!

Все это знали. Даже в аптеке сидят и только об этом думают: когда этот больной писатель сорвется? Когда? А может, в этом году выдержит и не запьет? Да ну, что ты. По весне-осени, сам знаешь. У *них* обострение. Хе-хе-хе. Очередь пошла волной. Он что-то говорил вслух. Он читал Бодлера, Малларме, По. В очереди. К зеркалу не подходить. Учитель английского и французского. Я перевел Бодлера, Малларме, Валери, а вы, что сделали в своей жизни вы? Фу, как некрасиво! Стыд, стыд, стыд... Ох... Ученики узнают на улице и улыбочки прячут. Смеются вслед. Вся Гора смеется. Веселая Гора Lasna. В гаражах в карты играют, козла забивают и про него анекдоты травят. Пьют Walter в парке и хихикают: а этот, блаженный, слышали?.. Чо? Опять наклюкался и оскандалился? Ага... Хи-хи! Опять... Ой, мама, не могу! Всех рассмешил пьяный сказочник, с катушек сорвался и шалтаем и болтаем перекаати-полем покатился. Ха-ха-ха! Из карманов бумажки и евро падают. Ха-ха-ха! Писатель на карачках. И подтяжки синие! А трусы видали? Красные! Умора! Ржу-не-могу. Я его сфоткал. На-ка, глянь! Зацени! Пипец, мама не горюй! Ага, красавчег. Вон он, смотри, пополз. Уссусь, глядя на него! Ссыте! Ну, ссыте же! Мне пятьдесят лет. Пятьдесят! Толпа расступалась. Люди читают газеты. Он в них мелькает. Они из газет делают кораблики, пускают по волне моей памяти. Это в лучшем

случае. Так, подотрутся, спустят воду. Хе, сказочник херов. Напридумывал хуепутало муйни всякой. Я мелькаю в газетах, а они смеются. Я в газетах затем и мелькаю клоуном, чтоб вам смешней жилось. Люди! Если б я чаще мелькал, вместо политиканов и членов рийгигогу, вы были бы счастливы, в парадизе жили б. А то у нас один *Paradise* – всем известный бордель! Смеются и в спину плюют. Шлюх уважают больше, чем писателей. Но ведь я – это он, они, часть вас. Я – *everyman, forchristsake!* Поймите! Над собой смеетесь, люди!

Пьянь, пьянь, пьянь!
Динь, динь, динь!

Каждая собака знает тебя, пятая нога. Выливал вино на камни. Мочился в публичном месте. Штраф оплатил? Безропотный безработный. Кто-то сфотографировал. Как вице-мэра, который передавал альтернативную историю человечества агентам парагвайской разведки. Он подал в суд на КаПо. Ох-хо-хо! КаПо подал в суд на министра. Ха-ха! Министр подал в суд на свою собаку. Обоссала все углы, пятая нога! Все тебя видят. Все видят всех. Все всё знают. Дома из стекла. На каждом углу камера. В каждой камере восемь углов, по пауку в каждом. Сказочник упал и разбил в кровь лицо. Динь, динь! *Pass it on!* Перепост трата-та! Лежит и дрожит, скукоженный, как кровяная колбаска. Расширьте в блогах: вся одежда в пятнах, вонища, боль в боку, такая жизнь, такой я.

Он хотел выпить с Антоном. Но Антон не стал бы с ним пить.

Вино из пакета. Испанское. Фу... от него изжога. Мне бы твои изжоги... мальчик, ты почти новенький.

Ноги затекли. Как у отца – предрасположенность к тромбофлебозу. Он лег. Но продолжал ходить по комнате. Белая горячка. Да. Опять. Вызовут «Скорую». Я сам. Он сам вызовет. Все скажут, он опять до чертиков допился. Сам и вызвал. Увозят бедного фантаста в дом, что на Палдиском шоссе. А может, и нет никаких чертиков. Каждый пиарит себя как умеет. Не стану. Сдохну, вида не подам. Подох, как собака. Окно не открою. Он пишет стихи. Он все объясняет в стихах. Анапестом – в аптеке, гекзаметром – контролерам. Ямб и хорей – для уличных дураков. Пшла вон, дура! Иди отсюда, дурак! Заявление прошу уволить меня по собственному желанию верлибром. Онегинскими строфами трем толстякам: «Звезде», «Знамени», «Дружбе народов». Про меня скажут: он писал стихи и читал лекции о Мамардашвили, который читал лекции по Прусту и Декарту. Про меня скажут: он был отрывкой отрывки, эхом Альберто Моравиа, который был эхом Сартра, который все украл у Селина, по мнению последнего. Недолго меня терпели. Три месяца. Он работал в советской школьной библиотеке, перебирал книги, перелистывал страницы, выскивая выпавшие листы и ругательства, подклеивал корешки, выдавал учебники. Он получал пятьдесят рублей в месяц (плюс тридцать рублей аванс). Пил газировку, ел хек с картофельным пюре в общественной столовой. Смотрел «И корабль плывет» в кинотеатре «Сыпрус». Слушал по ночам Севу Новгородцева. Обменивался пластинками на Горке. Задышался в очередях. Искал выход из лабиринта. Безнадежность. Железный занавес исчез. Границы открылись. Все та же тоска. Тот же лабиринт. Те же стены. Бьешься о них, как рыба об лед. Он ел вчера рыбу. А может, у меня послеродовая депрессия? *Baby blues, baby blues...* Закончишь большую вещь, становишься снова маленьким. *A fast downshift after great upgrade.* Стал вошью, стал собой. Мышь покатила мышь. Решиться. Надо решиться. Сесть, написать. Столько внутри. Куда спрятать? От себя не спрячешь. Как было приятно прятаться в конце автобуса! Пьяный. Ты ехал куда-то. Тебе было все равно. Ты открывал вино и тайком пил. В конце автобуса моей истории. Спрыгнул в безымянном городке, укрылся от глаз. Солнце в душу. Ты прятал душу от солнца. Это так непросто: завернул в кулек и пьешь. Из пакета. *Европа, думал ты. Европа...*

Почему? Почему Европа?

Ты стоял в солнцем залитом дворике и хлестал вино из горла, обернув бутылку в пакет. (Пакет из коричневой бумаги, как в кино, все это было, как в кино: прожектор солнца, плотно сознания и – маленький человек, который чувствует себя великаном.) Уехал в соседний городок, чтобы там налакаться. Там меня не знают. Ты тихо закрался в тот дворик. Как бродячая собака. Ты хотел выпить с Мартом. Сказал, пишет роман. Март может. Рассказы хорошие. И роман напишет. Напечатает под своим именем. *Пусть, курат, знают свиньи, что я о них думаю.* Отважился. Сколько ему? Сорок пять, кажется. Самое время. А я боюсь. Под псевдонимами – сколько угодно. Под своим именем не могу. Свое – страшно. Перед собой страшно. Как потом в зеркало смотреть? А вдруг – исчезну? Но в этом хоть толика смысла есть... Да! Неужели возьмусь? Я? Жена будет смотреть как на идиота. Так и буду – идиотничая и юродствующая. Без самоиронии никуда! Без нее ты пропал. Так и так пропал. Написал – пропал, не написал – пропал. Все пойдут в одно место: туда, откуда пришли.

Март ушел за травой.

Ты остался один.

С тобой простились. Никто не хочет с тобой пить. Ты слишком стар для всех. Тебя знают как облупленного. Знают, чем это кончается. Никто не станет с тобой пить.

Когда-нибудь ты проснешься один в этой квартире и повесишься.

Ты выливал вино на камни. Ты хотел выпить с Антоном. Мартом. Яном.

Ау! Караул! Кто-нибудь! Душа горит!

Никто не хочет с тобой пить. Ты пьешь один. Закономерно. Один пинешь, один пьешь. *Writing is a fucking lonely business*²¹. Сам заварил, сам и расхлебывай.

Звонил кому-то и хохотал. *Не бери в голову*, кричал в трубку. *Не бери в голову!*

Ужасно. Стыд. Кегельноголовый с собачьим лицом. Был похож на Маяковского. Макен-тощий. Джойсовский. Да. Похож. Просто одно лицо! Сбреешь всё и будешь Маяковским. Пиши, как он. Ступеньки, складки, стпньки, склдки. Облился красной краской и лег на капот разбитой машины. Под жуткий рев краутрока. Мы смотрели из окон. 1989. Маяковский был на худфаке. Он был студентом. Он ел различные супы.

Однажды утром я не встану.

Осенний свет повис над душой. Прозрачный, фолкнеровский.

Синюшкин колодец. Обступили дома. Семеновы сюда приехали в сорок седьмом. Андревы тут жили спокон веков. Причудские старoverы. Практичные хваткие люди. На островке, что отошел России. Зоя там ни разу не побывала. Зато от них унаследовала. Напористость. Жизнестойкость. Твердость, граничащую с бездушностью. Но не веру.

Ее придушили в советские времена. Дед Зои был ссыльным. Там и отрекся. Вернулся без креста. Ни слова о боге в их семье с тех пор. Ни в одном поколении. Работа, зарплата, квартира, машина. Только бы у нее получилось...

Заглянула к нему.

– Лежишь?

– Лежу.

– Ну, лежи, лежи.

Он подумал, что отец однажды так и не смог подняться. Таким же безжалостным утром, иссиня-фолкнеровским. Была весна. Цвели ирисы и гиацинты. Возле каждого дома. На каждом балконе. Его придавило к скамейке бессилие. Он не дошел до дома. Сел и сидел. Кто-то наверняка сел рядом. Ясновидов или Адрианов. Кто-то, с кем он дежурил на фабрике. Сел рядышком. Высосал из него кровь. Может, нашептал о моих подвигах. О непотребном поведении. О том, как забрали меня, сняли с поезда на Москву, незабвенный 34-й, за хулиганство. Пьянство, дебош, улюлюканье. Скандал в вагоне-ресторане. Бил посуду и матерился. Оскорбление

²¹ Писательство – чертовски одинокое дело (англ.).

личности пассажиров и железнодорожных работников поезда-орденоносца! Ходил по головам. Снимал штаны и бегал. Зассал весь вагон. Облевал проводниц. Всех до одной. Попытка изнасилования. Да! Пытался изнасиловать огнетушитель! Штраф. Срок условно. Сорок пять человек оскорбилось. Сто двадцать два подали жалобу. Поезд тоже оскорбился. Перековать, переобуть, умыть, отпидорасить! А? Могло быть? Доносчик какой-нибудь. Рассказал. Отравил. Улепетнул. А он не вынес. Не дошел. Хотел встать, не встал. Ноги не шли. Пальцы не шевелились. Ему в глаза что-то капали. Веки не закрывались. Так и остался на скамейке. Заиндевел и умер сутки спустя в реаниматологическом. Лежал. Молчал. Смотрел, смотрел и помер. Это было до «Лебединого озера» и всемирной реставрации. Перестройка уже шла, он не поспевал. Бросил читать газеты. *Все это несерьезно.* Золотые слова. *Несерьезно.* Мы вместе ненавидели Невзорова. Я пил с Витьком в Безбожном переулке, где этот любитель макабра разыскал лабораторию по трансплантации органов. Предвосхитил «Молчание ягнят» и «Интервью с вампиром» своей беседой с людоедом. Сделал с ним интервью. Разглядывал банки с заспиртованными частями тела. Консервы из человеческого мяса. Холодец... Упоенно расспрашивал. *А этот холодец не из моего коллеги? И назвал фамилию. Не помню. Его тоже звали Витя. Это часом не Витино ухо? Очень похоже на Витино ухо.*

Он дотянулся до шнура руля. Гильотинировал осень. Зачеркнул мир. Вчера его видели на камнях. В Кадрриорге. В очереди с бутылкой. Его, наверное, видели и в том дворике. Везде. В Безбожном переулке. В Александровском парке. В темноте чулана. На проходной Калининского завода. Вальцовка. Господи, я занимался вальцовкой. Как же нудно это было... и как давно... вечность тому! А школьная библиотека... Какая тоска! Мертвые мухи, засохшие кактусы... Сколько пыли в солнечные дни! Запах книг. В школьной библиотеке книга что-то вроде губки или туалетного ершика. Скрипучие стулья. Ругательства на столах. Мастика. Желтый порошок. И всюду было рядом что-то. Незримый надзор. Око. На каждом шагу. Он бегал по городу красный от негодования.

Паранойя. Это стыд и паранойя. Как у отца. Отцу все время казалось, что за ним следят. Стукачи на каждом углу. Он сидел и повторял имена тех, в ком подозревал доносчиков. Отовсюду ушел. Заперся в сторожке. И там донимали. *По ночам так и так не сплю.* Рефрен последних лет. Собирал с собой бутерброды. Шкалик водочки. Одевался как бомж.

Интересно, кто был последним, с кем он говорил.

О чем? Обо мне? Какая разница... *Так и так.*

Он лежал и не мог подняться. Его увезли.

Всех увозит одна машина. В одно место. *Sooner or later*²².

Он встал и снова лег. Голова гудела. Шум моря. Вереск и можжевельник. В теле волны. Как буй: то явь, то бред. Можно поблевать, но легче не станет. Лежать так лежать. *Лежишь? Лежу.*

Яркий свет пробивается. Он чувствуетеся. Стоит за шторой. Он есть! Беспощадный день. Растет, как опухоль. Неизбежный. Метлой по сердцу дворник. Мусоровоз выворачивает душу. Сквозняк выдавливает скрип из двери. За дверью призраки.

Вспомнил что-то и тут же забыл. Озноб памяти. Как собака из воды. Память встрепенулась. Выпустила каплю. И снова судорога. Не разжать. Дверь скрипнула, приоткрылась, захлопнулась.

Ветер. Ветки лупят по стеклу. День будет страшный. Безработица расхолаживает. Он перестал бриться и следить за собой. Год он держался, лечился – карсил, аллохол, омепразол – и вот сорвался. Безработному втрое тяжелей даются будни. День безработного длинней недели.

Это он вчера сказал Антону:

²² Рано или поздно (англ.).

– Понимаешь?

– Понимаю.

– Что ты понимаешь? – Махнул рукой.

Антон стоял у дверей. Терпел. Улыбался, улыбался, а потом улыбка сделалась натянутой.

А что было дальше... Что?

– Антуан Рокантен! – крикнул сказочник. – Знаешь, кто такой Антуан Рокантен? Знаешь?

Антон обиделся. Он не понял и обиделся. Невежественный юнец. Ушел. Колени врозь. Наступая на пятку. Плечи гуляли. Волосы ниже воротника, блестя, волнистые.

Антон, я помню, какого цвета была твоя коляска. Оранжевая. Я помню, как ты гонял на этом газоне мяч. Я помню, как ты курил, сидя на заборе. У гаражей был деревянный забор, от которого остались металлические столбы. Красная полоса. Белая. Красная. Белая. Я помню, как тобой беременная мать ходила у нас под окнами и вздыхала, а Сергей Васильевич болел за «Динамо» Киев. *Лобановский – это сила*. Теперь ты хочешь мою дочь. Приходишь ее лапать ко мне домой. Тебя еще в проекте не было, когда *Лэкетуи* украл Суперкубок у твоего отца. Как он ругался! Мой отец потирал ладоши. Он считал твоего отца стукачом. Боюсь, это я тоже сказал ему. За это убить мало. Убей меня, Антон. Мальчишка. Широкие плечи, насмешливый взгляд, длинные волосы, узкие джинсы. Ты – модель, а не убийца. Такие убийцы разве что у Фассбиндера. Тебе все равно. Не знаешь Фассбиндера. Все равно. Моя дочь – моя золотая роща. Чтобы ее взять, тебе и убивать меня не надо. Она сама выскользнет из моих рук, из моей квартиры. Она выскользнет из одежды и убежит к тебе. Не здесь, так на пляже. За теми же камнями, на которые я блевал, мочился, выливал вино.

Не допил. Это правильно. Может, это спасло негодяя. Выжил. До следующего раза. В печени шевелится краб. Печень – вздувшаяся водоросль. В сердце ползает игла. Это моя смерть. Моя дочь. Она меня доведет. *Чтоб ты сдох!* Еще хуже – он слышал, хотя был мертвецки пьян, он полз по полу в свою комнату и слышал, как она сказала матери:

– А завтра на коленях будет ползать и просить прощения, а мы должны будем притворяться, что все о'кей! Сама с ним играй в эти игры, а я ему завтра в глаза плюну!

– Эля! Не надо!

Он полз. Аэлита кричала:

– Я не могу это больше переносить! Весь год живет как мумия, слова доброго не услышишь, как туча ходит, ждешь от него нормального человеческого поступка, подарка, чего-нибудь доброго, а он в конце назло тебе – бах, и превратится в свинью! Ползет по полу и хрюкает! Каждый год ждешь – трясешься: когда он опять сорвется? А потом терпеть этот стыд! Как в глаза людям смотреть? Писатель нажрался. Писатель ползет по ступенькам! Истерики! Ненавижу! Пусть закроют его в дурку раз и навсегда!

Антон, твой отец жрал водку, надирался до скотского состояния. От него так воняло... *В сторожку не войти*, мой отец говорил. Но ты не знаешь этого. Ты этого не видел. Он умер прежде, чем в твоей голове включилась пленка памяти. Филологи женятся по несколько раз. Находят молодух. Жен выбирают среди своих студенток. Таких дородных. Чтоб нянчились. Даже среди молоденьких они мамочек себе ищут. Он так и обращался к ней: *ну, маму-уля...* Филологи поодиночке не живут. Совсем как хомячки... Филологическая особь не приспособлена к одиночеству. Трындеть об одиночестве – сколько угодно, а посидеть хотя бы минутку в комнате без людей – ударяются в панику. Караул! Ау! Помогите! Конечно. Необходимо чесать языком. Нужно кого-нибудь сверлить, унижать. Они всегда живут за чей-то счет. Пьют кровь. Нервы тянут. И на сторону – шасть! Закатиться в отельчик, заползти в коттедж. На пикнике перепутать палатку. Копытом туда, копытом сюда. Я так отчетливо помню не только мою жизнь, но ярко представляю жизнь каждого, кто попадаете мне на глаза. Хочется потопить все это во мраке.

Поэтому он сидел на камнях. И море раскачивало его. Как фотографию.

Когда-нибудь мир не выдержит и как песочный замок расползется, мешаясь с водорослями и ракушками. Он станет тем, из чего создан.

Год Семенов боролся. Он прятал от себя мягкость, а потом, не выдержав гнета, своей центробежной силы, снимал чешую и шел плясать по ребристым бликам на воде.

Может быть, когда-нибудь я так и останусь в этом блаженном состоянии полного идиотизма. Буду ходить без штанов и улюлюкать. Читать стихи и хихикать. Ковыряться в пупке, жевать соплю. Ночевать в холодном мху под флагом звездным.

Все переливалось. Комната покачивалась. Откуда-то струился свет. Как сквозь аквариум, в котором плавали волшебные янтарные рыбы. Лучше не вставать. Целый день.

Руки в крови. Одежда в крови.

Били меня, не чувствовал боли. Толкали, не чувствовал унижения.

Он слышал, как проезжали машины: чаще и громче. Он слышал, как проснулся малыш; он говорил: «Мама-ка?.. А я в сад не иду?»

Зоя отвечала: «Нет, сладенький, не идешь, пока кашель, дома сиди».

«А папака дома?»

«Дома, дома, папа тоже болеет...»

Он слышал, как ушла дочь: зло цокая каблучками и побрякивая сумочкой.

Жена принесла графин воды. Он не открывал глаза. Поставила кружку. Убрала пепельницу.

Он отвернулся к стене... und sagte kein einziges Wort²³.

²³ И не сказал ни единого слова (нем.) – название романа Г. Белля.

3

Смешные люди.

В сентябре всегда так – и грустно и смешно. Дети нарядны. Цветы. Каштаны...

Люди, люди...

Они уплывают, как сухие листья, подхваченные ветром; оборачиваются, смотрят на нее с настороженным изумлением: незнакомка в светло-синем плаще со слезами на глазах, – идут дальше.

Какие смешные люди. Они исчезают так быстро. Не успеваешь разглядеть. За каждым тянется клякса. Как пудель на поводке. Как шарик на веревочке.

Смешные...

Кусты трутся о скамейку. Она протягивает руку, но рука остается на месте, на раскрытой книге. Ветер пытается перевернуть страницу, но не может. Люди на тропинках стоят, как слова в строке. Смотрят на нее. Требовательно. С возмущением. Так хуторской дед смотрит из-за своего забора, и ты торопишься, опустив глаза, поскорее уйти, и долго чувствуешь на своей спине взгляд (как-то он ей приснился, и Лена долго гадала, когда и где видала старика, так и не вспомнила); однажды наступает день, когда каждый столб, каждая табуретка смотрит таким требовательным взглядом, поторапливая убраться, а у тебя нет сил идти, ты сидишь и гонишь вон из себя душу. Ветер гладит твои волосы, ветер прислушивается...

Не смотрите на меня. Не замечайте. Проходите. Меня нет. Меня здесь нет.

...может быть, если б он писал чаще; вот писал бы он чаще, не сидела бы она на этой скамейке, за кустами, чтобы никто не видел.

Нет, Лена не прячется. Солнце натерло до боли глаза. Ты чувствуешь, как они откликаются на зуд в груди. Наверное, можно было бы сказать, что это просто накопилось.

Да, но что накопилось?

Не знаю.

Вчерашнее приключение в криосауне было последней каплей. Она никак не ожидала, что ей будет так страшно: она думала, что умрет, она задыхалась, ее приводили в чувство, а мимо, танцуя, шел самодовольный раскрасневшийся молодой человек лет тридцати, а то и меньше, в белых шерстяных носках и тапках из овечьей шерсти, которые походили на унты, в белых шерстяных перчатках по локоть и шелковых белых трусиках – настоящий атлет, он шел и шумно дышал, отчетливо вычерченные мускулы налились, на его лице было блаженство (Лена со смущением отметила, что у него наступила эрекция, и он ничуть не стеснялся – наоборот: казалось, он ходил между шкафчиками, чтобы всем продемонстрировать себя). Ей было страшно, как иногда в детстве, когда ее оставляли в детсаду на ночь (это было в Петропавловске-Камчатском). Она думала, что она умирает. Сердце билось очень часто, и она не могла дышать. Но как-то дышала. Откусывала воздух и давилась им. Это не прекращалось. Ей хотелось, чтоб этот суматошный родник, который пульсировал в груди, в горле и висках унялся. Совсем. Но сердце билось и билось. Ей дали ватку с нашатырем. Какая-то бодренькая пожилая женщина, тоже разодетая, как для карнавала или свингер-вечеринки, предложила валидол. Лена взяла. Было унижительно. Она чувствовала себя полной дурой. Зачем я согласилась на это? Зачем? Так глупо умереть. Ради чего? Она повторяла про себя: это всего лишь приступ паники. На меня смотрят. Люди были как за стеклянной стеной. Они были ужасно искажены. Чудовища. Смотрели на нее. Чего они ждут?

«А чего вы такая бледная? – наконец-то появился доктор Мете (про которого говорили, что он этим занимается с советских времен: всю партийную элиту обслуживал – все любили заскочить к нему: сегодня, смотри-ка, разогнал до минус ста восьмидесяти!). – Ну-с, что нам,

так нехорошо с непривычки? Милая моя, что ж вы так? Ничего, – потрепал по щеке, – в следующий раз танцевать у нас тут будете».

«Уйдите, пожалуйста, меня сейчас вырвет».

Но не вырвало. Она сама не знала, отчего так сказала.

Молодцеватый старикан посмеялся и ушел. Подошла какая-то женщина, открыла шкафчик, стала переодеваться, не стесняясь мужчин в раздевалке, неизвестно к кому обращаясь, она сказала, что в первый раз ей тоже было плохо, у нее тоже случались страхи: «Второй год сюда хожу – никаких нервов, никакой бессонницы, и оргазмы такие, каких в молодости никогда не было!»

Старалась не слушать. Подумала о сыне, стало совсем страшно. А что, если я сейчас умру?.. что будет с ним?

Никто в этом мире ничего не знает. Никто!

Все держится на ниточках. Пригнуто на глазок. Отец вечно все путает. Обои, предназначенные для кухни, поклеил в детской. Заказываешь одно – привозят другое. Болезни появляются, которые никто не умеет или не хочет лечить. Никогда не знаешь когда.

Собачка чья-то лает... почему? Так и люди: этот знает, почему едет в банк, та знает, почему выходит замуж, а те знают, почему горят в танке; если не замечать слез, все остальное будто понятно.

Лена любит пройти через парк, расстегнувшись; если из кафе на полянку вынесли стулья, она садится выпить чашечку кофе, посмотреть на пруд, на людей (в этом кафе, если прохладно, можно взять плед), ведь это умиротворяет: люди идут мимо, никто никуда не спешит и даже машины не раздражают.

Нет, не в этот раз. Она не знала, хотелось ли ей посидеть, как обычно, она не знала, хотелось ли ей, чтоб он писал чаще. Вот машины, слышишь, едут и едут, и ты не можешь сказать, хотела бы ты, чтоб их было больше или меньше, ты просто слушаешь, как они гудят, фыркают, с закрытыми глазами слушаешь, потому что солнце слепит (так легче спрятаться), не можешь сказать, сколько их там – едут себе и пусть, все равно, – так и письма, они приходят, ты не станешь молиться Гуглу, чтобы их приходило больше. Ну, насколько больше? Чтоб он писал каждый день? Два раза в день?

Нет, конечно.

Отражения чаек кружат, раскачивая воду. Небо сегодня бездонное, фонарные столбы – глянь-ка, а лампы-то светят! Деревья танцуют. Флажки у дверей кафе развеваются, как на корабле. В беседке настраивают инструменты пожилые музыканты. У дверей кафе стоят двое: старик уговаривает зайти, молодой человек мнетя, мнетя, вошел. Она слышит всплеск. Это лебедь бежит по воде, машет крыльями, старается и... пруд поднимается, вбирая в себя сад, памятник, фонтаны, дорожки, скамейки, дворец, делает шаг вперед и ныряет (ветви роняют листья в небо), оборачивается вокруг незримой оси и ставит мир на прежнее место. Облака жмурятся. Тени вздыхают. Беседка посреди пруда кружится вместе с джазменами. Музыка кувыркается, как старая газета. Слова в голове перемешиваются, как лотерейные шары. Выплывают один за другим: старик с палкой, чайник на подносе официантки блестит. Грузовик рожает коробку... нет, шкаф – вытянули, понесли. Луна улыбается, еле-еле, призрачный абрис. Время останавливается. Толчками, как сквозь вязкую жидкость, сердце прорывается и выглядывает наружу.

«Как куколки», – думает она, и ей кажется, что эти мысли приходят из самого сердца.

Сейчас все застынет: собачка твякнет и не закроет пасть, рука девочки в синей шапочке повиснет над парашютом, кусок булки застынет в воздухе, чайка замрет. Деревья наклонятся навстречу своим отражениям и не разогнутся. Пружина откажет. Со скрипом начнет сворачиваться. Все двинется в обратном направлении, но без прежнего смысла и назначения. Бред станет законом; порядок – хаосом; негодяй – героем, а герой – подлецом. Богатство обратится

в дым, пепел, как манна небесная, сойдет на людей сновидениями, и все станут мудрецами, никого не надо будет учить.

...может быть, если б он писал чаще, она не дочитывала бы его писем и чувствовала себя от этого хорошо.

Дитрих тоже писал не так часто, но почему-то ее это не расстраивало.

(Еще неизвестно, из-за чего она теперь так расстроилась; уж не из-за писем точно.)

Дитрих отправлял письма в четные дни (смешной предрассудок), присылал фотокарточки, чтоб она могла повесить на стенку, был старомодный и неуклюжий, женщин не знал, на семь лет старше, открытки слал чаще, чем электронные письма.

Он был из глубинки (городок настолько крошечный, что название в памяти не задержалось), работал в юридической конторе; в начале знакомства он старался производить впечатление владельца конторы – *in my law office, under my command*²⁴ – со временем исправился: «был владельцем... была у меня контора, но... не удержал, и вот теперь в чужой работаю... так удобней... городок маленький, работы мало». За полтора года ухаживаний прислал два подарка: коробочка с дюжиной трюфелей и грубая стеклянная ваза; трюфели прибыли на Восемое марта. Ее отец быстро сосчитал маленькие конфетки и сказал: «Вот она, хваленая немецкая практичность. Двенадцать штук! По конфетке в месяц. Коробка в год. Жмот, одним словом». Мама Леночки, наоборот, обрадовалась, целый день летала из комнаты в комнату, а оттуда в кухню, все подходила к коробочке, заглядывая в нее и умилялась, точно видела внутри счастье своей дочери: там, как в шкатулке, ее маленькая дочь с маленьким Дитрихом сидели в маленьком домике, пили вино возле камина, поставив ноги на убитого медведя, на бедрах был плед, в камине – огонь.

Иногда Дитрих звонил, у него был недурной английский, рассказывал ей о своих делах, коллегах и жителях городка, в котором почти ничего не происходило, – ходил на охоту (запомнился лось в полтонны весом и одним рогом; «Он был старый, – как бы извиняясь говорил Дитрих, – старый, все равно бы умер в этом году»), ездил на Пасху в Ландсхут, на рождественскую ярмарку в Штраубинг, провел уик-энд в Пассау; говорил, что читает немецкую классику, но ни разу не назвал ни одного автора.

А этот, подумала она о муже, ни разу не позвонил, и пишет редко и не о том.

Хотя нельзя сказать, что Лена чего-то ожидала; она знала, что с ним все ее ожидания будут обмануты, чтобы могла наступить подлинная жизнь (подлинная жизнь всегда идет наперекор мечте); это случалось на каждом шагу, начиная с первого свидания, когда он подарил розу, длинную, колючую («палка, а не цветок»), ужасного пошлого бордового цвета, и они с ним ходили всюду, и все не в те места.

С самого начала с ним все было неясно, странности на каждом шагу, и вечно недоговаривал. В некоторых людях есть такое, но к этому привыкаешь (возможно, потому что не живешь с ними, но брак меняет все: мелочи растут, скапливаются). И вот уехал в свою любимую Швецию и пишет, что ему там хорошо, кругом мох, можжевельник, камни, старые крепостные стены и погода необыкновенная, ветер с тобой словно разговаривает: подойдет и дует тебе в ухо, пока не рассмеешься, и тогда он закружит, подбрасывая над тобой разноцветные листья, они на тебя сыплются, ты стоишь, как дурак, смеешься, люди идут мимо, улыбаются (неудобосказуемая неприятность ни разу не потревожила).

Зачем уехал?

Пока он рядом, она его понимает, но стоит ему отойти, как ей становится понятным недоумение других на его счет. Она устала договаривать за него предложения; устала быть его адвокатом, толмачом, знахарем, секретаршей, агентом, служанкой и, в конце концов, женой.

²⁴ В моей юридической конторе, под моим началом (англ.).

Возле стеклянной пирамидки солнечных часов ученики. Лена с трудом убирает прядь с лица. Рука тяжелая. Дергают друг друга за шарфики. Учитель грозит указательным пальцем. Солнце выглянуло, наклонилось, задумалось.

Знаки зодиака. Лена первый раз узнала о знаках зодиака именно там, у этих солнечных часов. Она тоже была ребенком. Терпеть не могла географию, зоологию, физкультуру и труд. Когда отец уходил в море, ставила флажки на карте там, откуда получала его письмо: Мадагаскар, Мозамбик, Гватемала, Куба, Аргентина... Любила музыку, но не было слуха. *Бедная Эльза. Девочка с глазами волчицы.* Так давно. Как сон какой-то.

Она подумала о себе в третьем лице: *Лена любила музыку.* Так, наверное, могла бы сказать или подумать мама. Так может подумать отец. *Алена любила музыку* – да, так подумал бы папа. *Каждый день слушала свои пластинки.*

...пластинки в потертых конвертах. Толстенная пачка... в гараже. Несколько килограммов музыки. Давно не слушала. Может, эти пластинки и послушала бы...

Вспомнился ученик, которому делали химию: лицо полного мальчика затмило мир на мгновение. Девятый «Б». Она стояла на остановке, а он покупал кассету в киоске. Умер теперь уж, наверное. Она ему ставила хорошие отметки, хотя он ничего не делал: писал в тетрадке, шептался с соседом по парте, таким же полным, но здоровым. Секретарь директора предупредила: «Этому не ставьте плохие отметки – ему химию делают». А потом она ушла из школы – чтобы не знать о нем ничего.

Если все плохо, то чем стали для его родителей вещи, которые он покупал? Те же кассеты...

1994.

Год нелепых надежд, ожиданий – ветренное бессмысленное время.

Мальчика, может быть, давно нет.

Всех нас когда-нибудь не станет.

Мир сквозь слезы казался чище и драматичнее; мир двоился – пленка свернулась, как диафильм на простыне – скомкался, и заскрежетали жернова.

...а может, ее так нервирует Зоя? Она сильно изменилась, одержима новой идеей, взяла кредит и теперь боится – не может как следует начать свое дело, так и сказала сегодня:

– Разрываюсь, на части разрываюсь, – и посмотрела умоляюще. Лена не поверила и отвела взгляд.

Она опасалась, что Зоя втянет ее в авантюру. Сегодняшняя встреча в «Комете» вряд ли была случайной (не верю). Лена не хотела идти, но Зоя уговорила. Все столики были заняты (вот сейчас бы уйти). Зоя негромко пропела: «Ой, как грустно всё, как грустно», – и Лену резанули в ней обнаружившие себя чужие интонации, до неприязни знакомые, точно кто-то еще рядом появился. Где-то она уже слыхала такой напев. Кажется, в парикмахерской. Или у болтливой массажистки. Да какая разница... Это поветрие, оно повсюду, люди регулярно заболевают какой-нибудь присказкой, скороговоркой, которая, как многим представляется, им придает бойкости, живучести, а потом зараза расплзается по миру, ничем не вывести, в некоторых эти сорняки спят годами. Вдруг изящный бордовый брючный костюм а-ля бизнес-леди, который Зоя надела, несомненно, чтобы похвастаться, Лене показался фальшивым, а весь разговор – постановочным, вырезанным из учебного пособия. Говорила Зоя так, словно петляла. Не к месту вспомнила Ирвина, спросила Лену, не видела она его фотосессию в Якутии. Нет, Лена сказала, что не следит. Зоя притворно округлила глаза и страшным шепотом сказала:

– Ты что! За кем-кем, а за Ирвином **стоит** следить.

Ирвин Пауэлл Гроув появился в 1995 году – они подозревали американского профессора в шпионаже, с годами он затерялся и вот всплыл в социальных сетях ловцом френдов и фолловеров.

– Он постит до сорока ссылок за день. Все о России. Из «Ленты», «Кольты» и прочих альтернативных источников. Ну, ты понимаешь о чем. – Лена пожалала плечами. – Надо заметить, он неплохо выучил русский. Во всяком случае, на заголовки его хватает: не путается, придерживается линии. Только что-то я как-то не верю, что человек может за день прочитать столько. С его-то русским... Хотя как знать, он столько лет его учит и все время с русскими женщинами живет... Уж читать-то научился. Наверняка ему платят за это. Он же ничего просто так делать не будет, старый халявщик. Точно, ему за это платят. У него столько френдов, почти две тысячи. И каждый день набирает больше и больше. Короче, ведет активную сетевую жизнь. Как те тролли питерские, только наоборот. Ну, ты поняла...

Мистер Ирвин Пауэлл Гроув, профессор Массачусетского университета, почетный член клуба «Ротари», сановитый, в меру напыщенный, смешливый великан со слезящимися кроотовыми глазками и вечно надтреснутыми очками, человек с двумя левыми руками и семью носовыми платками, представитель общества черт знает каких сил или, если совсем коротко, черт знает кто! Он влезал в кабинеты – *I do apologise for inconvenience*²⁵ – и все стелились у его ног; легко втирался в друзья к директорам различных предприятий – все надеялись на какое-нибудь знакомство, с кем-нибудь из Ротшильдов или аль-Рашидов (умел невзначай обронить имя). Смазанная до блеска речь при необходимости скрипела и заедала. Он жонглировал названиями корпораций и газетными заголовками из всемирно известных журналов. Цитировал целыми абзацами, но если спрашивали о чем-то конкретном, умолкал и, жалуясь на память (*aging before time*), изображал полное бессилие. И снова журналы, журналы, для которых он интервьюировал знаменитостей (имена, имена), писал статьи (под псевдонимами, конечно). Каждый провинциальный предприниматель грезит о том, чтоб его компания, его имя выползло однажды на страницы *Financial Times*... и не все ли равно, что там напишут: главное – напишут, я есть, наша компания существует, я, мы, о! Он никому ничего не обещал, но: как знать, я пишу о развивающихся странах... Румыния, Молдавия уже за плечами... А Венгрия – о, какая страна! Вы бывали в Будапеште? Как?! Непременно поезжайте, не пожалеете! Эстония – уникальна, с высоты моего опыта смело скажу... Небольшая страна, которая может стать площадкой для всевозможных социальных экспериментов... *How would you like it – project Testonia?* Шучу, шучу... Эх, меня, если хотите знать, это вдохновляет... перед вами столько возможностей... столько всего впереди... меня это даже, если хотите, возбуждает, ха-ха! Очень многие миллионеры и корпорации могли бы заинтересоваться, вложить в вашу страну крупные суммы – *project Investonia!* *Just kidding*... Да, столько всего впереди... вы только что откололись от атолла коммунизма... вы в интересном положении, если можно так выразиться, хо-хо-хо! Профессор Гроув предсказывал экономический расцвет, головокружительный прогресс, дигитализацию всей страны: вот увидите, в двадцать первом веке Эстония станет одной из первых в мире, кто перейдет на цифру целиком, целиком и полностью! Дорогие друзья, вы и представить себе не можете, какая у вас будет жизнь! Будете еду через компьютер заказывать, не выходя из собственной квартиры, будете получать на дом лекарства! Его карманы были набиты визитками и пригласительными открытками, на каждом фуршете он ел больше всех – а кто он такой, хотели бы мы знать?... кто этот жирный господин в грязной рубашке?... вон тот, с тарелкой у портъеры... небритый... от него запах тела... подойдите, встаньте рядом – дышать невозможно!.. кто-нибудь знает, кто это такой?.. откуда он взялся?.. кто он? Филиас Фогг наших дней? За неделю вокруг света обернется и в другую сторону еще быстрее! Да в самом деле, что нам про него известно, кроме того, что он – *a Rotary club member* и *professor*? Ничего. Мы знаем о нем только то, что он сам о себе выбалтывает; мы знаем также, что его привела озабоченная истеричка, гомеопат, она вышла с ним под руку из душного, кактусами обставленного кабинета, где по слухам она соблазняет своих клиентов (как мужчин, так и жен-

²⁵ Я прошу прощения за неудобство (*англ.*).

щин). Мы знаем о нем ровно столько, сколько позволила нам о нем узнать его комическая скороговорка, за которой далеко не все поспевали – разок отстал, сколько ни нагоняй, обрывки упущенных нитей было уже не связать. Знание о нем было фрагментарно. Профессор Гроув был похож на человека-невидимку, который растворился не весь – кое-что, казалось, о нем все-таки было известно. Он был женат на дочке знаменитого американского психолога, ученика Вильгельма Райха, от которого в период травли откестился, дабы успешно переметнуться на сторону дочери Фрейда и впоследствии сделать карьеру под руководством Эдварда Бернейса. Его бывший тесть заведовал кафедрой социальной психологии в каком-то институте, был заядлый курильщик, тратил очень много денег на отбеливание зубов и лечение бронхита – участвовал в разработке обширных мероприятий по борьбе с курением и сам часто в них принимал участие, пламенно выступал, поэтому должен был соответствовать; исколесил всю Америку и большую часть мира с лекциями по пиар-менеджменту и пиар-инженерии, выйдя на пенсию, жил в Калифорнии, раз в месяц собирал у себя на вилле все семейство, чтобы за ужином прокричать раз семнадцать «Бога нет! Иисуса тоже никогда не было! Непорочное зачатие – миф!» Ирвину он постоянно напоминал о своих достижениях, подводил его к шкафу, где за стеклом стояли кубки (выигранные чемпионаты по игре в поло и гольф) и всевозможные статуэтки (победа в конкурсе эссеистов, победа в конкурсе стенографистов, победа в поэтическом конкурсе, победы на математических олимпиадах), доставал из шкафа дипломы, вымпелы, сертификаты, разворачивал рулоны своих почетных грамот и ругал его за то, что тот ходит на демонстрации, на концерты и фестивали, за то, что он читает Берроуза и Тимоти Лири. Тут Ирвин вздыхал: «Начало семидесятых, жуткие времена, нас сломали... мы были сломлены... мы проиграли нашу борьбу, и нас на каждом шагу щелкали по носу... все это понимали... каждый стоял перед своим выбором: сдаться, стать таким, как они, терпеть обидные оплеухи или продолжать бороться... И я тоже, передо мной была эта дилемма в виде образцовой успешной американской семьи, которая меня почти сломала... но я выжил... я не дал себя обратить в зомби... мне хватило сил на развод, и пусть все мои достижения развеяли, а самого меня отовсюду пятнадцать лет гнали – мой тесть постарался, кричал, что сживет со свету, но не вышло, хотя меня потрепало, потрепало, благодаря ему... Но я не жалею... Я всего сам добился, восстал из пепла, как говорится... Жил счастливо и несчастливо, но жил, а не дышал миазмами кретинов, подобных моему тестю... А моя бывшая теперь – директор огромного пиар-концерта, ох!.. Она занимается такими вещами, я боюсь, что она занимается пиар-кампаниями претендентов в президенты... Но какая она невозможная идиотка... в своем последнем интервью для Fox News она такого наговорила... если б вы слышали!.. Нет, лучше вам не слышать... Нет, конечно, я не жалею!» Никто не мог вспомнить ни имени его жены, ни ее отца – и произносил ли он их имена вообще? Профессор ловко менял тему. «Ну? – спрашивал он. – Что скажете, Хелен?» Лена пожимала плечами. Профессор Гроув ей казался скорее фокусником (она боялась сказать «шарлатаном»), чем профессором. Он был смешной, большой и неуклюжий. Клоун. Посадив себе кляксу кетчупа на рубашку, проходит с ней десять дней и не заметит. Он был трогательно неуклюж. Попадал в комические ситуации. Она не хотела о нем думать плохо. В конце концов, благодаря ему она увидела Америку – он помог ей с оформлением визы и даже «обеспечил крышей над головой». Знакомая Ирвина оказалась русской аристократкой, эмигрировавшей в Америку из Франции в тридцать восьмом году, ей было шестнадцать, она всю жизнь переезжала с места на место, о том и говорили три месяца: о переездах, последний («этот уж точно последний») в Элизабет из Ньюарка, боялась жить одна, ей повсюду мерещились итальянцы, боялась, что к ней влезет какой-нибудь гангстер и задушит ее, «как кошку», – поэтому приглашала к себе жить студенток с условием, что те не станут водить парней, «но каждая рано или поздно кого-нибудь приводила». Лена никого ни разу не привела. Ей очень понравилось в Элизабете, она много гуляла по паркам и аллеям, по гладко скользящим с холма на холм тропинкам и плиткой выложенным улочкам, она глазела по сторонам и ни о чем не

думала, например, куда-нибудь еще съездить; позже ей все задавали один и тот же вопрос: ты статую Свободы видела? Нет, отвечала она, не видела; почти все три месяца она прожила в Элизабете, это были самые беззаботные дни, вокруг были милые люди (итальянцев среди них и правда было много, но это ее не пугало, они тоже были очень милыми и не такими шумными, как те, которых она видела в Италии). Лена на редкость много читала (в основном Бунина). Брала книгу и шла в парк. Иногда на траве, иногда на просторной ярко-зеленой скамейке. Мягкий ветерок шевелил ее длинные русые волосы, солнце золотило руки, она снимала туфли и подтягивала ноги на скамейку (тогда еще гибкие, стройные); мимо проходившие американцы с ней здоровались, широко улыбаясь, и Лена думала, что все они улыбаются искренне. Жители Элизабета были все как на подбор рослые, статные, как породистые немцы, какие ей встречались во время путешествия по Шварцвальду, и это было забавно, потому что они в основном жили в маленьких ярких домиках, почти игрушечных, с ухоженными садами, которые своей образцовой аккуратностью только усиливали эффект игрушечности, отчего Леночке думалось, что и живут они тут словно понарошку (и сны ей снились в Элизабете странные – и после возвращения из Америки ей долго снилось, будто она все еще в Элизабете, спит в маленькой голубой комнатке русской аристократки и видит очередной сон).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.